

опустошитель
[иверсния курутьлы]

#44
децимация



Журнал «Опустошитель»

#44. Децимация

Москва, декабрь 2024

262 страницы

Главный редактор Вадим Климов

Принципиальная недосказанность позволяет преодолеть элементарные парадоксы, представляющие действительность в совсем нереалистичных тонах. Незнание заставляет стрелу лететь дальше. А здесь уже и до Фридриха Ницше рукой подать. Немецкий философ разглядел человека в стреле тоски, брошенной на тот берег. А Зенон Элейский из своей античной глуши обескровил новаторский проект, доказав неподвижность стрелы. Движения нет, поэтому другой берег недостижим. Человек остается со своей тоской. Времени, судя по всему, тоже не существует. Поэтому это никогда не закончится.

Антонен Арто, Ульрика Майнхоф, Эжен Ионеско, Кира Муратова, Рене Домаль, Эмиль Мишель Чоран, Жан-Люк Годар, Ален де Бенуа, Юкио Мисима, Курцио Малапарте, Ноам Хомский и, разумеется, Вадим Климов. Опустошитель #44. Децимация.

ISSN 2219-5424

Опустошитель, 2024
<http://pustoshit.ru>

ж у р н а л

О П У С Т О Ш И Т Е Л Ь

#44. Децимация

Антонен Арто
Виталий Аширов
Ален де Бенуа
Яна Васькевич
Жан-Люк Годар
Евгений Долматович
Рене Домаль
Роже Жильбер-Леконт
Эжен Ионеско
Вадим Климов
Дмитрий Колейчик
Ульрика Майнхоф
Курцио Малапарте
Юкио Мисима
Кира Муратова
Ноам Хомский
Нелли Цымбаленко
Эмиль Мишель Чоран

Москва
Декабрь 2024

ГЕЙЗЕНБЕРГ, ЗЕНОН, НИЦШЕ, САРТР, СЕЛИН, ХАЙДЕГГЕР И ВСЕОБЩАЯ ДЕЦИМАЦИЯ

Все мы знакомы с принципом неопределенности Гейзенберга о том, что у частицы не могут быть одновременно измерены ее положение и скорость. Наше знание ограничено не чисто количественно, а принципиально — на парадигмальном для науки уровне.

Но кроме этого все мы знакомы с Зеноном Элейским и его недостижимой черепахой. Софист предложил и более радикальную апорию о всеобщей неподвижности. Зенон рассуждал так: летящая стрела в каждый момент времени неподвижна, значит, она неподвижна всегда — движения нет.

Двадцать четыре столетия спустя квантовый механик Вернер Гейзенберг расстроил безупречные рассуждения древнегреческого коллеги, вклинившись в самую их сердцевину — в момент обнаружения неподвижности стрелы. Оказывается, мы знаем о стреле либо ее положение, либо скорость. Но никогда и то, и другое одновременно.

То есть принципиальная недосказанность позволяет преодолеть элементарные парадоксы, представляющие действительность в совсем нереалистичных тонах. Незнание заставляет стрелу лететь дальше. А здесь уже и до Фридриха Ницше рукой подать.

Немецкий философ разглядел человека в стреле тоски, брошенной на тот берег. А Зенон Элейский из своей античной глуши обескровил новаторский проект, доказав неподвижность стрелы.

Движения нет, поэтому другой берег недостижим. Человек остается со своей тоской. Времени, судя по всему, тоже не существует. Поэтому это никогда не закончится.

Выходит, американский кретин Фрэнсис Фукуяма прав, и можно больше ни о чем не беспокоиться? Не совсем... Все еще хуже!

Жан-Поль Сартр на кончике пера вывел тип мужчины, которого так недоставало — мужчину с половой дисфункцией. Рассказ «Интим» раскрывает безобидного импотента в актуальном качестве — безопасного спутника женщины, которой не нужно больше беспокоиться за свой сексуальный бастион — крепость останется неприступной, что бы ни происходило.

Не зря Луи-Фердинанд Селин так ненавидел этого жалкого популяризатора Мартина Хайдеггера. Сартр художественно изъяс из любого порыва сердцевину, сделал его безопасным и бесполезным.

Если вы — стрела, то всего лишь повисшая в воздухе. Если вы — женщина, то без драмы проникновения. Если мужчина, то... После «ИнTIMа» можно даже не заикаться о другом берегу Ницше. Туда и черепахам Зенона никогда не попасть.

А посему... Как поступали в таких случаях дадаисты: ВЫ ВСЕ — ОБВИНЯЕМЫЕ. ВСТАТЬ. С ВАМИ МОЖНО ГОВОРИТЬ, ТОЛЬКО КОГДА ВЫ СТОИТЕ.

Обвиняются не только перечисленные высоколобые мерзавцы, а вообще все. Суд уже состоялся. Обвинительный приговор вы узнаете из юридического вестника «Опустошитель», как раз выходит 44-й номер. Децимация¹. Развести по камерам этих скотов!

Прокурорами на этом запутанном процессе выступили Антонен Арто, Ульрика Майнхоф, Эжен Ионеско, Кира Муратова, Рене Домаль, Эмиль Мишель Чоран, Жан-Люк Годар, Ален де Бенуа, Юкио Мисима, Курцио Малапарте, Ноам Хомский и, разумеется, Вадим Климов.

¹ Децимация — высшая мера наказания в армии Древнего Рима: казнь каждого десятого по жребию.

м и к р о

Кира Муратова **И ПТИЧКУ ЖАЛКО, И КОШКУ ЖАЛКО**

— Жуй-глотай, — сказала я.

— А ты песню пой, — возразила она.

— Когда я ем, я глух и нем, — сказала я.

— Когда я кушаю, я говорю и слушаю, — сказала она. — Песню пой. Я свое дело делаю, а ты свое дело делай, — сказала она.

— Старую песню пой.

Я завела про елочку, которая родилась в лесу. Думала — не ужогу. Нет — угодила. Она жевала и глотала. Дойдя до слова «чу!», стала я петь потише — авось проскочит. Но она перестала жевать.

— Я свое дело делаю, — сказала я с вызовом.

— Пой-пой, — осторожно сказала она. — Ты ведь знаешь докуда. До лошади мохноногой.

Я спела про дровенки и про мужичка в них, но тут она замахала руками.

— Хватит! Хватит! Теперь она нарядная... Ты же знаешь.

— Это неправильно, — упрямо сказала я. — Надо спеть про то, как срубил он нашу елочку под самый...

— Нет-нет-нет! Про корешок не надо! — Она прижала ладонь к моим губам.

— Ну хорошо, — сказала я. — Тогда песня закончилась. Жуй-глотай.

— Спой, как она нарядная на праздник к нам пришла.

— Это невозможно, — сказала я. — Это глупо наконец. Как она могла прийти, если ее не срубили под самый...

— Не надо! Не надо! — закричала она. — Не говори про это! Мне елочку жалко!

Губы ее задрожали.

— Раз жалко — значит не будет никакого праздника. Пусть растет в лесу.

— А я хочу про праздник. Мне нравится.

— Это абсурд, — сказала я. — Это лицемерие. Это ханжество. Жуй-глотай.

Она смирилась:

— Ладно. Сказку читай. Буду тогда быстро очень жевать. И глотать буду.

Про зеркало волшебное, показывающее тайные мысли, была сказка.

Она сказала, что хотела бы иметь такое, чтобы знать мои мысли — те, которые я ей не говорю.

— О чем ты думаешь еще? — спрашивала она. — Расскажи мне.

Я сказала, что думаю о столь многом, о всяком разном, что не знаю, о чем же именно рассказать. Ну о чем, например? Про что?

— Про лес, сказала она, подумав. — Что ты думаешь про лес? Мне дедушка про лес всегда рассказывал. Ты была в лесу?

— Была.

— С кем ты там была? — спросила она.

— И одна, и с людьми разными. Грибы собирала.

— Но там же тебя мог кто-нибудь растерзать, — сказала она.

— Ну нет. В таком лесу я не была. Есть такие леса — без зверей.

— Но зайчики там есть?

— Есть.

— А дедушка зайчиков из ружья убивал. Зайчики плохие — они едят деревья.

Она вопросительно посмотрела на меня.

— А что же им есть? — возразила я. — Они же кушать хотят.

— Ну пусть едят капусту. Деревьям больно.

— А капусте не больно? — возразила я. — Странная логика у тебя.

Она пожала плечами.

— Капусту все едят.

— Зимой нет капусты! — закричала я. — В лесу вообще нет капусты! Жуй-глотай! Зимой нет ничего! Одни деревья стоят.

— Не кричи на меня, — сказала она. — Я не люблю, когда кричат. Пусть пойдут в огород. Пусть пойдут куда-нибудь. Пусть едят мясо.

— Вот это да! — сказала я и взяла себя в руки. — Они не умеют есть мясо.

— Почему? У них же есть зубы. У них такие остренькие зубки.

— Они не едят животных. Они умеют есть только растения. И потом, животным же еще больнее, чем деревьям, когда их едят. Ты вот ешь котлету, а о корове ты не подумала. Жуй-глотай.

Губы ее опять задрожали.

— Я не буду больше жевать, — тихо сказала она. — Я не буду больше глотать.

— Ну ладно, — сказала я. — Оставим этот разговор. Ты уже все съела. Пойдем голову мыть.

— А зачем голову мыть? Я на голову не падала.

— Поговори у меня, — сказала я.

п р о з а

Яна Васькевич

ТЯЖЕСТЬ

Сегодня мир живых покинул мой любимец — кот. Как полагается человеку с эмпатией, я, понутив голову, неспешно шёл залить своё горе в ближайшем кабаке. На лице у меня была туманная грусть или горечь: я не мог посмотреть на себя со стороны, поэтому сложно сказать точно. Где-то внутри щемило сердце, не то, чтобы сильно — одну аорту: кот всё-таки был мне дорог. А был он и правда славным, из той породы котов своенравных, и вместе с тем ласковых и верных. С воспоминаниями сердце стало щемить сильнее. Чтобы отвлечься, я занялся подсчётом шагов до кабака. Шаг, второй — шаги мои тяжелые и широкие — третий, четвертый.

— Господин, вид у вас нерадостный, вы забыли надеть улыбку? — раздражённым тоном спросил некто.

— Да я, понимаете, похоронил друга, — своё моё существо начало оправдываться, медленно поднимая голову.

Он стоял в десяти дюймах от моего лица. Так чудовищно близко, что я слышал его прерывистое дыхание, явно указывающее на то, что человек этот ждал объяснений. Я же наоборот замер, как если бы проснулся посреди ночи от пристального взгляда незнакомца.

Человек этот выглядел угрожающе, хотя и был опрятен, одет по погоде. Стоп! Дело было в его хищной улыбке, он словно показывал мне пример радостного лица, мол смотри, вот так: брови повыше, уголки напряженно поднять. Хотя, скорее, так смотрит хищник

на бьющуюся в агонии добычу.

Человек, не чувствуя смущения, ввёл меня в безумный диалог:

— Так что же, друг был вам дорог?

— Д-да, я знал его с юности.

— Я угадаю — он был седеющим брюнетом?

— Ээм, рыжим, это был мой...

— Значит, говорите, он был рыночным трусливым воришкой?

— Да что за бред вы несёте?!

Я сделал шаг в сторону — незнакомец приобнял меня за бедро.

— Как он пах, чем пах ваш друг-то?

— Ээ, не знаю, как объяснить.

— Нет-нет-нет, это неважно, главное, что сейчас он пахнет гнилью. Любил ли он ромашковый чай или, скажем, лавандовый?

Моё сердце заколотилось и вспотели руки.

— Пожалуйста, прошу вас, — прошептала я.

— А как преставился-то, друг ваш. Как помер?

Дрожащей рукой я попытался убрать грубую руку со своего тела. Увидев это, незнакомец ещё сильнее расплылся в улыбке и обхватил моё беспомощное тело уже двумя руками, практически повис на спине, а руки его корсетом сплелись на рёбрах. Тяжело дышать. Я продолжил считать шаги — теперь они короткие и неглубокие. После меня на песке должны оставаться следы: вес физического тела продавливает песок и на нём остаются углубления, верно? Но что это? После себя я видел маленькие лунки, похожие скорее на отпечатки козьих копыт.

Язык незнакомца скользнул в ухо и тело захвалили конвульсии, волосы вздыбились. Теперь всё моё существо тело было во власти незнакомца. Язык его двигался глубоко внутри и голос слышался уже в голове:

— Я помогу тебе.

Миг — и незнакомец расстегнул мой ремень и ловко вытащил из брюк. За одно мгновение мы оказались с ним связаны: он стал уродливым сиамским близне-

цом, выросшим у меня на спине. Тяжело идти, опускаю голову вниз. Так вот, куда деваются мои следы! Проклятый незнакомец семенит своими тоненькими ножками и стирает их, а взамен ставит свои. Я стерпел и это: было неловко возражать, поэтому я медленно шёл, тяжело переставляя ноги. Незнакомец всё ещё шептал.

— Как невоспитанно ходить вот так — с лицом, изуродованным печалью, — на секунду вторгся в моё липкое сознание голос.

Дорогу мне преградил человек. Обычный мужчина, каких тысячи, с яркой заметной улыбкой. Незнакомец-наездник сжал меня сильнее. Человек спросил:

— Что же вы не обменяетесь улыбками с солнцем?

Моё горло не выдавило и звука.

А солнце и не хотело видеть мою улыбку, и, если бы я осмелился радостно усмехнуться в огромное лицо, оно бы выжгло мои глаза, чтобы я больше никогда не нашёл его взглядом. Воздух, пропитанный солнцем, — всего лишь приманка для наивных жучков. Теплый песок, греющий ноги, сейчас был раскалённым, а ноша на спине заставляла вязнуть в нём сильнее. Мёртвая ветхая трава насмехалась надо мной. Меня ненавидела каждая молекула в воздухе, я жалок даже сильнее, чем простейшая бактерия. Если бы наездник сжался надо мной и расслабил железные руки, я бы предпочёл рассыпаться прахом здесь же.

— Господин, это невежливо вот так не отвечать. Разве ваш попутчик не научил вас манерам?

— О господин, у него несчастье, его старая беременная мать умерла, рожая хрустальную вазу, — отозвался мой попутчик.

— Право, это не повод строить мерзкую гримасу, уважаемый, слышите, — ударил меня по плечу второй незнакомец.

В ушах звенело, почти потеряв связь с физическим телом, я всё ещё шёл.

— Хрустальный мальчик, постой-ка, видно ты плохо слышишь, — прокричал мне в ухо идущий рядом

попутчик, залезая при этом под ремень.

Шаг... Второй... Все лицевые отверстия уже исследованы языками и даже мой собственный язык теперь не принадлежал мне, но заставить меня говорить мучители были не в силах. Дорога казалась бесконечной, а пейзаж таил угрозу, читающуюся в каждом элементе: безжизненном белом солнце, раскалённом воздухе, во мне самом: я был чудовищно огромным, готовым вырвать почившее тело своего друга из прохладной земли и затаиться там самому. Я стал чудовищем, которому хватило бы смелости на любые зверства, но даже при мысли порвать свой ремень я превращался в беспомощного жучка, который отчаянно семенит лапками, без возможности перевернуться со спины.

Люди всё подходили и подходили — уже через каждый метр: кто-то просто выражал недовольство моей смелости показать скорбь, другие без стеснения давили на щёки, растягивая уголки губ. И все они залезали под ремень, прижимались к ногам, животу. Один человек отчаянно искал место, чтобы зацепиться, и прижался к гениталиям, тогда стало невыносимо щекотно, я стал дёргаться и хохотать:

— Мой друг сейчас также извивается от щекотки, я даже представляю, как он забавно сучит ногами. Отличие лишь в том, что он мертвец.

Вот показался кабак, и с каждым шагом ноша становилась легче.

Нелли Цымбаленко
«Б» КЛАСС

Вадим Масленников. Урок

Вадим озирается по коммунальной квартире, он понимает, что и здесь можно освоиться, и жить, и любить, но недостаточность опыта леденит его, нагоняет паралич, он передвигается деревянными ногами в нужную комнату, где за огромным столом его ждут задания для подготовки к экзаменам.

Вадим протискивается вдоль заваленного коридора. За коробками, бесконечно захлапившими коммунальную квартиру, ежатся от холода забытые домашние. Честолюбие Вадима мешает ему сосредоточиться на запредельном, он уже переступает порог нужной комнаты — для дополнительных уроков Вадим приходит сюда три раза в неделю. Жалостливый взгляд домового, вынырнувшего из-за коробки, провожает его. Закрывающаяся за Вадимом дверь (комната, в которую он войдет, полна света) напускает темноту на два маленьких горящих взгляда.

Вадим садится за стол, он поджигает пальцы, за белыми носками тянется грязь с ковролина.

Вадим уходит в уборную. Провожающий его взгляд домового расширяется в маленькой неловкой тревожности, домовый ежится от холода и задыхается от пыли, которая плотно забивает пространство между коробками и стенами с рыхлыми обоями.

Ванная, страшная серая ванная, по пути в уборную, была открыта. Вадим заглядывает в неё краем глаз. Маленьких девочек, 8 и 12 лет, купает мужчина. Не так давно он стал жить с их матерью, которая и сейчас ждёт их в самых дальних от ванной комнатах.

Мужчина, замечая внимание постороннего, закрывает дверь, прорезая границу между холодным воздухом коридора и жарким паром ванной.

Возвращаясь, снова по этому коридору, Вадим слышит из ванной ругань и звуки глухих ударов. К нему выползает обмотанная затхлым полотенцем девочка постарше, она плачет. Домовой протискивается за свою коробку.

Глухая земля продолжала скатываться в неглубокую яму, приготовленную взволнованной девчушкой.

Девчушка озирается по сторонам, боязливо замечая других детей, издалека похожих на разлетающиеся во все стороны пушинки.

Девчушка погружает в маленькую впадинку куклу, которую она незаметно стащила у одной из тех порхающих в игре пушинок.

14

Немое содрогание пробегает по телу девчушки, пока она прибавляет ладонями сухую землю. Такая куколка у нее не одна. Теперь маленькие пушинки-принцессы ни за что не притронутся к своим вчерашним радостям — грязным, помятым.

Теперь эти куколки только ее. Девчушка глупо и натянуто улыбается. Она и оставит куколок такими. Когда позднее, уже находя способ скрыться не от надзирателей детского сада, а от матери, достанет их, подвергнутых необратимому магическому ритуалу, чтобы потом, во избежание новой бессмысленной муки, снова спрятать — уже дома.

Спустя годы, когда мы стали девушками, а маленькая девчушка — моим случайным и при этом единственным другом, я встретила ее мать.

Ее мать боязливо поглядывала на меня, даже в глазах подростка ей мерещится осуждение, она поджимает носочки своих туфель, она бы и вся свернулась улиткой. Чтобы скрыться от нас и от него. Подслеповатого плешивого мужичка, пришедшего к ней на

свидание. Так мы их и застали, при людях, на лавочке, разумно выжидающих нужное время. Плешивый мужичок распаяюще пялится. И в какой-то момент нам становится непонятно, на кого именно.

Плешивый мужичок может стать завидным объектом в глухом городке. Он это знает, это позволяет ему вести себя развязно. Он оценивающе пялится. В таких оценках всегда сквозит настоящее высокомерие свиньи. Впрочем, предстань он перед объектом позавиднее, портрет его испытает глубокую метаморфозу — его поведение начнет соответствовать его виду, плешивость будет выражать заискивающее раболепие, по взволнованному лицу будут бегать, совершенно машинально, дрожащие ладони — ведь такой не станет исключать возможного удара от объекта посolidнее, удара, за который он же сам и извинится. Удара, который превратится в шутку. Затрещину, которая заставит его панически хихикать, напрочь забыв о той наглой самоуверенности, которая сейчас обретает столь гротескные формы.

Сенная

“Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих срединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой”.

Это известная цитата об известном герое.

Я хорошо помню Сенную, которая вся была заселена мелкими лавчонками, где соответствующий контингент правил от зари до зари и торговлей, и, кажется, самим районом. Вся Сенная была похожа на мурaveйник: лавочки, ларьки, сделанные чуть ли не из га-

зет и картонных коробок, кишели, не останавливаясь. Был даже магазинчик, в котором, в десятки раз дешевле, продавались известные всем продукты, только с чудовищно истекшим сроком годности. Возле этого магазинчика всегда можно было увидеть шайку любопытных героев, каждый из которых страдал веером пищевых расстройств. Сюда, на Сенную, невольно засасывало многих: от тех, кто просто пытался пробраться к метро, до тех, кто стремился пройтись по маршрутам героев Достоевского. Вот эти последние были любопытны.

И нравились мне больше прочих. Кислые физиономии почитателей Достоевского, которым приходилось кубарем скатываться в ад и хлам Сенной, чтобы, закрывая свои благодные носы, поскорее выбежать на Набережную канала Грибоедова и уткнуться одухотворенным взглядом в заветный дом номер 73. Дом Сонечки Мармеладовой. Они, эти взнесенные интеллектуалы, начитавшись о Петербурге Достоевского, непременно хотели его испытать, но Петербург открывался им здесь, на родной Сенной, — тот самый Петербург — шумный, пестрый, безумный.

Впрочем, сама я решила в то время поселиться чуть дальше от Сенной, вверх по Садовой, которая убегала к Мариинскому театру, пересекая расцелованный солнцем Лермонтовский проспект. Где-то в районе площади Тургенева моя любимая улица пыталась убедиться, что вся маргинальность позади, но то была иллюзия.

Я не помню точный год, но однажды, совершенно случайно оказавшись на Сенной, я стала свидетелем, как и многие другие зеваки, великого сноса той самой Сенной, загроможденной муравейными торговыми точками. Клубы пыли, грязи поднимались на лучшие высоты, дышать было невозможно. Мои маленькие воспитанники, чьи откровения на тот момент могли бы потягаться с поэзией лучших символистов, рассказывали мне, что и они застали великое изгнание, только будучи с другой стороны площади. Они, помимо той

атмосферы, что позволила играть им в маленький хаос, смогли и пожить небольшими подаяниями, которые им, в качестве гостинцев, оставил навсегда уходящий рынок.

Деревья-медузы

Когда-то у нас с детьми была такая сказка про деревья-медузы. Деревья-медузы обитали в морях, в которых не было времени. У деревьев-медуз вместо корней были щупальца, которые помогали им передвигаться по воде, что была их землей.

Команда моряков, заметив, что все часы в мире остановились, отправилась на поиски времени.

Морякам удалось выяснить, что и у моря нет времени, об этом им и рассказали деревья-медузы.

Это все, что я помню о нашей сказке.

Однако очень хорошо запомнилась такая фраза:

«Корабль уходил все дальше от берега, и огни Москвы становились все тоньше и тоньше».

Новый год

Сочинение четвероклассника на тему «Нового года» представлено одной строчкой. Он сдает свой листок:

«Новый год — это белое дно, где стоят деревья, усыпанные цветами».

Виталий Аширов
В ГОРОДЕ КРАСНЫЕ

18

Акушер-гинеколог областной клинической больницы обнаружил удивительную способность новорожденных малышей продолжать нормальное существование при полном отсутствии крови в организме. Олегу Семеновичу приснилась эта идея (был синий-синий вечер; стена соседнего дома, дрожа, уплывала в палисадники) и он тут же проделал с одним из своих маленьких пациентов опыт. Крошечное отверстие в пятачке, катетер. Капля за каплей кровь уходила, но ребенка, казалось, ничего не смущает. Он продолжал с интересом наблюдать за реальностью. Когда вышла вся кровь до последней капли, малыш сонно потянулся. Пухлые губы расплылись нежной улыбкой.

Акушер сделал различные анализы и не нашел ничего подозрительного. Пульс, конечно, не прощупывался и сердце не билось, но эти привычные для нас процессы не являются обязательными для функционирования тела.

Олег Семенович впоследствии, когда будет писать монографию, не сможет найти удовлетворительное с научной точки зрения эволюционное значение крови. “Смысл красной жидкости остается неясным, равно как неясной остается и сложная механика сердечных мышц.” “Орган этот, — писал Олег Семенович, — самый загадочный в организме, ибо занимается бессмысленным трудом, туда и сюда перекачивая красную жидкость.” “Сей атавизм, — визжал доктор в заключительной главе, — бесполезен и должен быть вырван с корнем!” “В древние века сердце, как я думаю, служило для обогрева (от постоянного трения крови о стенки сосудов происходило нагревание), сейчас в лю-

тые холода мы носим теплую одежду, и нам не нужно сердце. Вдобавок, — его палец словно описывал крикую в воображаемой аудитории, — на него налипло столько глупых коннотаций (символ добра, любви, дружбы, поддержки...), что рекомендую срочно от него избавиться, предварительно откачав жидкость.”

В первые годы он делал это тайком. Младенцы, прошедшие через его руки, становились бескровными (сердце он тогда еще не удалял). И — удивительно! — отличались завидным здоровьем, редко плакали по пустякам, были гордостью и радостью родителей. Единственную странность замечали детские врачи, когда пытались взять кровь на анализ — сколько ни кололи они детские пальчики — ни капли не выходило. И вены были пусты.

Сперва такие случаи были редкими, их списывали на таинственную генетическую аномалию, но как только набралось значительное количество, на них обратили внимание профессора высших инстанций, и вот тогда Олег Семенович вышел из тени и признался, что случайно совершил открытие в анатомии.

Его, конечно, заключили под стражу, но пробыл он там недолго. Матери обескровленных детей выражали поддержку акушера и требовали выпустить его немедленно, подкрепляя свои слова шумными пикетами возле стен тюрьмы. Когда узник появился за воротами, бросились с объятиями, и каждая взахлеб рассказывала историю про то, какой у нее чудесный ребенок, а все благодаря стараниям Олега Семеновича.

После тысячи кропотливых анализов был создан медицинский консилиум. Лучшие врачи страны решили, что кровеносная система (со всеми сопутствующими органами) действительно суть бессмысленный атавизм. Началось массовое обескровливание младенцев. Олег Семенович был назначен руководителем процедуры. После откачки крови производилось удаление ненужной сетки вен и артерий (легко убиралась пинцетом). По желанию родителей вырезали сердце. Счита-

лось, оно занимает слишком много места, отчего ткани рядом плохо пропитываются кислородом.

Следом за новорожденными, стали практиковать операции на возрастных пациентах. Открылись передвижные пункты откачки крови. Быстрая безболезненная манипуляция продлит вам жизнь! — кричали рекламные плакаты. В ряде случаев (там же мелким шрифтом) возникает эффект омоложения. Пожилые дамы толпами валили.

Были и ярые противники нового тренда. Кто-то боялся медицинских вмешательств, иной считал, что кровь важна для правильного функционирования тела (таких называли кровеверы и откровенно насмехались над ними в массовой печати).

Возник ряд объединений, состоявших из сенильных старичков, которые утверждали, что Олег Семенович американский шпион (вариант: переодетый ящер) и в сговоре с подкупленным правительством проводит геноцид народа.

Однако население не сокращалось. Страна богатела год за годом. Были разговоры о том, чтобы поставить Олегу Семеновичу памятник, но он скромно отказался.

Другие страны обратили внимание на наше нововведение. Кое-где оно прижилось. В Индии, в Шри-Ланке, в Мексике и Новой Зеландии. А вот Запад по большей части был консервативным. Впрочем, за большие деньги (и рискуя свободой) отдельные медики проводили “отсос” даже в Америке.

Монография вызвала интерес у ряда коллег, но значительной популярности не снискала. Врачи любят точность, а Олег Семенович был чистым интуитом и свои идеи брал из кошмарных или светлых снов, не умея объяснить те или иные тонкости.

После неожиданного успеха обескровливания акушер обрел счастье. По вечерам ходил по городу, всматривался в лица, сходу отмечая тех, кто уже лишился крови (чуть бледнее) и радуясь тому, что таких все больше.

Вскоре начал его мучить один и тот же повторяющийся кошмар. Как будто кадры из старинной кинохроники. Он греет у камина озябшие ноги. За окном стрельба, крики. Что такое? Отпахивает шторы: на него со взмыленной лошади глядит испуганный старик в военной форме и что-то повторяет, взмахивая саблей, но так тихо, что Олегу Семеновичу приходится высунуться из окна, чтобы услышать. Каким-то образом удастся удлинить туловище и выдвинуться на пять метров. Прильнув ухом к губам старика, слышит: в городе красные! От этой фразы сильная судорога проходит по телу акушера. Он просыпается в поту.

С удручающей одинаковостью сон повторялся много раз, пока в городе (не во сне, в реальном городе акушера) не появились красные. По форме это были такие же существа, как люди, только состояли из сгустков крови, и соответственно, были лишены черт лица (их сравнивали с ожившими фигурками из красного пластилина). Возникали они всегда поодиночке и только по ночам. Ничего опасного не вытворяли. Бесцельно бродили. К утру где-то скрывались.

В полиции копились заявления. И говорить журналистам, о том, что очевидцы пересказывают городские легенды или были подшофе, сделалось неудобно. Объяснили охоту на красных (так их с легкой руки Олега Семеновича и называли). Парочку молчаливых тварей поймали и доставили в отдел. Там промурыжили до утра. Нервный следователь не выдержал многочасового напряжения и нанес удар ребром ладони по лицу красной фигуры. Она булькнула и распалась лужей крови, забрызгав стены.

Медики определили, что фигуры не являются разумными существами (и вообще животными), а суть странное атмосферное явление вроде сгущения тумана или шаровой молнии, только сгустилась кровь. Какое-то время она принимает и держит человеческие очертания, потом снова течет ручьями в канавы.

“Нельзя считать их “живыми” и “пытаться наладить с ними контакт. Ведь не разговариваем мы со сне-

жинками! — читал доклад акушер, — они возникли от того, что в стране много крови. Мы пока не умеем ее грамотно утилизировать. Каждый день рождаются дети. Мы обескровливаем их и выливаем отходы в канавы. Свойства крови известны нам слабо. Молекулярный ее состав — по сей день загадка!”

Не скоро народ привык к присутствию красных. Разгневанные горожане проводили ночные рейды, колотя дубинами всех красных, встреченных на пути. Очень быстро они поняли, что это бессмысленно. Даже от слабого удара твари разлетались взрывом кровавых брызг. На следующий день опять собирались в фигуры и бродили по тем же улицам.

Убивать их — тоже самое, что стрелять в стаю снежинок, решил народ и перестал обращать на них внимание. Иногда подростки устраивали за ними слежку, надеясь, что красные куда-то приведут (к летающей тарелке), однако передвижения их были бессмысленны, а к утру они медленно расплывались алыми ручейками. Отстали от них и подростки.

Через пару лет красные сделались привычным дополнением ландшафта, как вороны на крышах гаражей или красивые клумбы.

Олегу Семеновичу продолжал сниться сон. Иногда это был тот же старик, а иногда он обнаруживал себя стоящим посреди разоренного города (в нижнем белье). Что-то гремело, куда-то бежали какие-то люди, и отовсюду несло — то испуганно, то восхищенно: красные в городе! И вот на лошадях из разломанных зданий выступали красные. Парни в буденовках. С шашками наголо. С поднятыми револьверами. Они убивали всех, кого видели. Олег Семенович до самого конца сна надеялся, что его не заметят. Лошади как бы обтекали акушера, щекоча пышными хвостами его голые ноги. Прежде чем воинство исчезло вдаль, красный комиссар — молодой парнишка — оборачивался и не целясь всаживал пулю сповидцу в грудь.

В реальном городе происходили тревожные события. Красных стало слишком много. Они научились

просачиваться под дверями и формировались в квартирах, пугая домохозяев. Вышвыривать или разбивать пришлецов было бессмысленно. На другой же день они тонкими струйками сочились сквозь щели и возникали перед кроватью или обеденным столом.

Анализы показали, что красные вернулись к тем, у кого раньше бежали в жилах. И теперь следовали за ними по пятам. Не просто ходили за носителем по квартире, раздражающе повторяя каждое его действие, но и шли на работу и там имитировали его движения.

Практически у каждого жителя нашей страны отныне был свой красный. Только его экземпляр. И все знали, если красного убить, и кровь расплескать за сотню километров, струйки сольются в ту же самую копию. Она где угодно разыщет хозяина и продолжит загадочную игру.

Народ начал негодовать, проклиная Олега Семеновича. Существование стало неудобным (даже в туалет не сходишь без того, чтобы перед тобой там же издевательски не присела красная фигура. Что уж говорить о более интимных делах!).

Счастливики без красных копий насмеялись над теми, кто сделал операцию.

Пока его не линчевали (а уже звучали такие предложения), Олег Семенович решил всем помочь путем обратного вливания родной крови.

Впервые в его жизни идея явилась не во сне.

Проведенный опыт показал, что вернувшаяся кровь как ни в чем не бывало бежит по организму. А самое главное, пациенту больше не являются красные.

Он объявил о результатах исследований. В тот же день запустилась кампания под названием "Возвращение крови".

Сильнее всего Олег Семенович переживал, что будет невозможно вернуть кровь тому, у кого вырезано сердце или вынуты вены и артерии. Выяснилось, что кровь справляется и без этого (очевидно атавистического) механизма.

Через маленький прокол за считанные минуты пациенту заливалась кровь из разбитого его красного. А спустя полтора часа он уже довольный шагал домой.

Так закончилась эпоха красных. Все вернулось на круги своя. Только кожа людей без вен первое время смотрелось странно. Привыкли. Теперь она считается эстетически приятной для глаза.

Акушер написал обширную статью. Опроверг собственные исследования бескровности и заявил: “черпая из снов основы идей, я глубоко ошибался. Моя ошибка чуть не стоила нам нормального существования. И сейчас я во всеуслышание говорю: в организме человека ничего не бывает просто так. У нас нет ненужных органов или лишних функций. Можете называть меня кровевером”.

Когда последний красный вернулся в тело носителя, сны про красноармейцев перестали беспокоить Олега Семеновича. Он прожил долгую жизнь и неохотно вспоминал про нашествие красных. А когда ему об этом говорили, намекая на ключевую его роль в нашествии, недоуменно пожимал плечами. Вы какой-то ваш сон рассказываете, бормотал акушер.

Дмитрий Колейчик
ПРИЗРАКИ КАМНЕЙ

*Приступая к Нему, камню живому,
человеками отверженному...*
1Петр 2:4

1. Притча

Вышел Давид, средних физических данных юноша, против свирепого великана Голиафа. Раскрутил Давид пращу, метнул камень в Голиафа... А камень возомнил, что он летит.

В этой истории меня больше всего волнуют переживания камня. О чём он размышлял? Какими неразрешимыми вопросами мучился? К чему стремился? Может быть, он хотел улететь на юг, и пытался и так и сяк повернуться-выкрутиться, изменить свою траекторию, но тщетно, и он винил в этом себя? «Неуклюжий, тупой булыжник, ты плохо стараешься и всё делаешь не так! Возьми себя в руки, тряпка, развернись и лети к своей мечте, ты же камень, а не птичий кал, чёрт тебя подери!» — твердил он себе после каждой неудачной попытки, и вновь старался с мрачной целеустремлённостью гранита.

Ветхий Завет коротко сообщает нам, что камень сразил Голиафа наповал, «вонзился в лоб его». Но как воспринял это событие сам камень? Считал ли он себя убийцей? Страдал ли от угрызений совести? Что стало с ним потом? Он жил, пока летел... Давид прославился, ему отмерили почестей и всенародной любви, а камень даже не сохранили как реликвию, как артефакт, его просто забыли. Он остался валяться в пыли, как труп.

Труп камня. Использованный, искушённый иллюзией полёта, будто обворованный, опустошённый и немощный, как и был прежде — пока не подобрала его сильная рука.

Но не как прежде.

Где-то в аду для камней, он всё помнит. Помнит убийство, жар крови, трепет умирающего мозга. Очень медленно ценой невероятных усилий он продвигается, чтобы оказаться на дороге, где об него споткнётся прохожий, чертыхнётся в сердцах, присядет на корточки от боли, схватит проклятый камень, да зашвырнёт его подальше. И придётся вновь начинать трудный путь — всё ради того, чтобы хоть на миг ощутить себя живым. Хоть еле-еле живым, исторгнутым на секунду из небытия безликости, никаковости... И если камни могут мечтать, то в мечтах его: что однажды в поле, среди высокой травы под бледной луной, или пылающим солнцем поссорятся два брата, и он окажется под рукой...

Трупы камней не истлевают, как всякая плоть, они становятся призраками. Ведь тела их равны их душам. На камнях пересекаются миры: что здесь, то и там, то и всюду. Словно шар — всегда одинаковый, в пространстве любой размерности сохраняющий единый образ.

Мне кажется, что не камни, а трупы камней валяются всюду. Все они были когда-то одухотворены, вовлечены, вытащены из небытия, и однажды вонзившись в чей-то лоб, жаждут вновь ощутить себя живыми. Если смотреть на камни внимательно, вслушиваться сердцем, то можно услышать их призраков. Они шепчут: «Возьми меня в руку! Положи в карман — на всякий случай. Я тебе пригожусь».

После прогулок я возвращаюсь домой с полными карманами камней.

2. Призраки камней

Всякое молчание — это речь, которую трудно расшифровать. Настоящее молчание — молчание камня. И кто не камень, но молчит — на самом деле, он говорит. Иногда мне кажется, что даже камни кричат.

Но я слушаю. Мне кажется не иногда, а очень часто так кажется. И я бегу со всех ног по бульжной мостовой. Спотыкаюсь и падаю, разбиваю колени и локти, подбородок, висок... Встаю и снова бегу. Ночью ни зги не видно, и каждый бульжник норовит меня споткнуть. Они орут про то, как ими разбивали пальцы, суставы, лбы. Воят о раздавленных мышцах, собаках, кошках и крысах. И о разбитых окнах и фонарях. Ночью не видно ни зги...

За каждым камнем и бульжником бесконечной мостовой есть соучастие в убийстве. Они поют об этом. Я бегу с разбитым лицом, покалеченными руками и ногами, а они тянут сумеречные руки, хватают меня за лохмотья... Что им надо? Ведь я же их друг! Я, может, единственный, кто их слышит, кто их любит!

Спасаясь от внезапного бешенства камней, я забегаю в дом. Он безопасен, он собран из кирпичей. Они послушны, молчаливы и покорны, потому что они рабы. Среди них я буду в безопасности...

Ах, да! Следует пояснить, что мысль о кирпичах — из другого моего откровения. Вот оно:

3. Про уродов и камней

Нельзя родиться камнем. Камни не рождаются. Откуда, вообще, берутся камни? Тайна! Ну, допустим, это обломки массивных геологических образований, осколки метеоритов, вылизанные океаном, но это же не ответ на вопрос. Сказать, что камни — это части чего-то другого, чего-то большего — это уловка. Как на вопрос «как появилась жизнь?», ответить, что её занесло из космоса. А в космосе она откуда? Откуда там

камни? Откуда эти геологические породы, массивы? Почему эти камни такие... классные! Им так хорошо и никак, а мне нет — почему? Они даже не рождались, а — такие совершенные! Что за странность, что за парадокс? Зачем вся сложная биохимия, трудная проблема сознания, если вот — элементарные камни так хороши?!

Они меня вдохновляют и озадачивают. Есть ещё кирпичи. В них есть некий предел формы, они буквальны. Но они — не камни. Кирпичи — это что-то извращённое, в них есть страдание, след насилия от геометрии. *Кирпичи — рабы*. А камни свободны. Они таковы.

Может быть, Каин убил Авеля кирпичом, который потом и заложил в основание своего города. Каин, между прочим, не просто убийца какой-то. Он — цивилизатор, культурный герой. Он город построил и научил людей пахать. Что с ним потом стало, неизвестно. Так-то он же бессмертный... но куда-то смылся. Может, камнем стал.

Если бы у меня был такой напыщенный брат, как Авель, я бы, наверно, его тоже убил. Во всяком случае — ненавидел. И всё его семейство самодовольное. Чечевича им, видите ли, не нравится, мясо им подавай! Нате вам мясо, хавайте — не обляпайтесь, жлобьё!

В сюжетах про Каина и Авеля, и про Эсава и Иакова задана парадигма «в семье не без урода». И по сей день (но уже последний — прим. автора) — если ты не такой, как все, и ты не гей, не женщина, не инвалид, или, например, не карлик — то ты, явно, урод. Быть другим и требовать к себе уважения можно только, если ты «другой» в строго очерченной геометрии. А если тебе нравится Каин, например, и ты находишь убийство Авеля, как минимум, допустимым поступком, то ты урод и, вообще, маньяк потенциальный.

Попробуй, скажи в обществе людей, что дети — ничем не важнее ветхого маразматичного старичья,

или доходяги-алкоголика, и человеческая жизнь — не такая уж ценность, а вся история человечества — сплошное побивание камнями... Сразу тебя сочтут уродом! Не «человеком с морально-этическими особенностями души», а именно уродом. Вот если бы у тебя ноги не хватало, и ты был карликом, у которого недоразвитый брат-близнец на лбу вырос, или женщиной, которую тискают в лифте коллеги-мужчины, или — страшно сказать, — ты стал пидарасом, — то тебя бы уродом не называли. Потому что это невежливо. А по мне так это и есть урод. И все, кто с уродами носятся, и с детьми этими капризными, и со стариками, и с ещё кем-нибудь из уродского рода человеческого, — вот все они уроды и есть.

У меня в библиотеке полно камней. Я хожу на прогулки, и они мне постоянно попадаются — смотрят в глаза, хотят поговорить, рассказать обо всех своих перипетиях, обо всех убийствах, которые ими совершали... Я всегда возвращаюсь с полными карманами камней...

4. *Adamas Ater*

Первую камнеметательницу я создал, когда мне было 8 лет. Это была простая рогатка. Из неё я убил голубя. Он сидел слишком близко и зазевался, или задумался, и я смог — себе на удивление! — его поразить из своего несовершенного орудия. Я был в восторге. Не от убийства птицы, но потому, что моя рогатка способна поразить цель. Ведь из неё я не мог разбить даже окно на втором этаже — камень не долетал.

Да, это была простая рогатка и плохо сделанная, и, казалось бы, причём тут высокопарное «создал»? Создают только впервые, или что-то грандиозное, а рогатки каждый сорванец мастерил, причём успешнее, чем я. Но дело в осмыслении. Свою «рогатку» я осмыслил как камнеметательницу.

Нет. Тогда ещё я не сознавал величия и совершенства камней. Я жил среди людей и думал, что лечу. С родителями я летал на юг отдыхать в августе, и жизнь моя была умеренно безоблачной. Но меня привлекла возможность метать камни, я проникся и восторгался вместе с ними, словно сам был камнем.

Однажды, когда мне было уже лет одиннадцать, я встретил в парке странного человека. Он выглядел уродливо, о чём я, конечно, ему не сказал, потому что был хорошо воспитан. Он сидел в густой тени под клёнами на покосившейся скамейке, у которой не хватало больше половины брусьев. Он казался старым. Даже древним. У него не хватало глаза, а одна нога была странно вывернута и необычайно тонка, словно сухая ветка на живом дереве. Грудь его была, очевидно, травмирована — когда-то раздавлена и смята, — и выпирала, как грудь женщины. А на лбу красовалась морщинистая шишка. Глубокие её борозды напоминали хмурое лицо младенца. И мне грезилось, что это лицо даже открывает глазки и кривит рот.

Старик попросил меня найти в кустах за скамейкой красивый камушек, который он обронил. Он сказал, что этот камушек ему дорог, как память о дорогих ему людях, об ушедших временах юности, когда он питал большие надежды и тяжёло, но радостно трудился. Он сказал, что ему — ветхому старику — трудно проковылять до кустов и согнуть спину, чтобы копать в земле... Да, так он и сказал — «в земле», а не «в траве», хотя, когда ищут что-то обронённое, обычно не говорят «в земле»...

Он описал мне этот камушек, сказал, что он совершенно круглый и сверкающий, как беззвёздная ночь. Я легко нашёл его, он походил на шарик хрустальной, но когда обернулся, уродливого старца на скамейке не было. Чёрт знает, как он так быстро сбежал! Но камень мне понравился, я положил его в карман. И забыл про него.

А когда вспомнил, не смог найти. Но что-то во мне изменилось. Я стал лучше чувствовать камней. И тогда я создал вторую камнеметательницу. Технически это была праща из бельевых верёвок и обрезков старого ремня. Но для меня это была камнеметательница.

Из неё я успешно поражал котов и собак, легко разбивал фонари и окна даже на четвёртом этаже. Но людей не трогал. Может быть, боялся. Может, меня сдерживало другое.

Когда повзрослел, я тоже не трогал людей. Нет, я не маньяк и не урод, хотя у меня есть «особенности». Лишь единственный раз, когда я ещё был аспирантом, случилась, или правильнее сказать — почти случилась — неприятность...

Тогда я работал в паре с такой же, как сам, аспиранткой. Мы занимались томографией и спектроскопией метеоритов. Это были крошечные образцы — срезы космических камней. Но в тот раз в нашей лаборатории кто-то оставил лунный камень. Неизвестно, как он к нам попал, камни с Луны — слишком большая ценность, чтобы их раздавать аспирантам и забывать в лабораториях.

Камень меня заворожил. В груди что-то зашелестело у самого сердца, словно высокая трава под ветром. Я вспомнил ощущение хрустального камушка, который нашёл в детстве. Мне показалось, что он, как драгоценность в кармане, затаился внутри меня, и я ощущаю его. Моя коллега в это время достала лунный камень из контейнера, задрала джемпер и, хихикая, приложила ценный образец к своему чуть выпирающему животу. «Я на втором месяце, — сказала она. — На удачу! Может, мой ребёночек заложит на Луне первый город и станет известным, как...» Я не дал ей договорить. Её глупая улыбка и хихиканье, её тупое суждение, неуважение, с каким она схватила такой редкий камень и попыталась присвоить его душу... Это всё меня взбесило, и разум мой помутился.

«Место уже занято!» — вскричал я и вырвал камень из её рук. Схватил её за волосы, прижал голову к столу и бил-бил-бил её в темечко этим камнем, пока не размогзил череп и не забрызгал всё вокруг кашей её мозгов. Потом меня затошнило, и я согнулся от спазма.

Моя коллега, такая же желторотая аспирантка, как и я, трогала меня за плечо и встревожено спрашивала, всё ли со мной в порядке, не нужна ли мне помощь. Нет, со мной было явно не всё в порядке, но помочь себе я мог только сам. Зверское убийство оказалось маревом, помутнением, которое я, однако, пережил внутри себя. Я обо что-то споткнулся, и не замарал руки человеческой кровью. Хотя, признаться, эту легкомысленную беременную дуручку стоило убить. Хотя бы ради её будущего ребёнка. Тогда я опрометью выскочил из лаборатории, зажимая ладонью рот, и, пока добежал до туалета, сполна распробовал и запомнил вкус кислой жгучей рвоты, словно мой язык — точнейший спектрометр. Я смотрел в чёрную воду, и меня рвало безжизненными звёздами.

5. *Lapis Magnum*

Вероятность, что «Эвен Негеф» столкнётся с Землёй, составляла 93% по последним самым тщательным и многократно повторённым расчётам. И это действительно были последние расчёты, потому что если они верны, времени уже не оставалось ждать дальше и раздумывать. Камень свыше ста тридцати километров в диаметре критически близко и готов поцеловать нашу планету в макушку.

Ведущие мировые державы, до сей поры державшие друг друга за сами знаете что, раскрыли свои секретные разработки. Нашёлся призрачный шанс, что траекторию «Эвен Негеф» можно изменить и избежать гибельного поцелуя. Для этого команде заправских ковбоев от науки, прямо как в голливудских фильмах, нужно было слетать на этот камень и уста-

новить на нём экспериментальный двигатель, искажающий гравитационные волны.

Я сразу понял, что обязан попасть в отряд «космических ковбоев»! Пара звонков нужным людям всё решило. Моей учёной степени и квалификации оказалось достаточно, чтобы меня приняли в состав экспедиции. Перебирать и привередничать у человечества времени не оставалось.

«Эвен Негеф» — так в шутку назвал этот астероид, явившийся из туманного облака Оорта, раввин и любитель-астроном, который его впервые обнаружил. «Эвен Негеф» — с иврита переводится как «камень преткновения». В каббале это один из эпитетов Сатаны. Об этот «камень» споткнулся Израиль, и обречены спотыкаться все неверующие и нарушающие законы.

Шутка раввина удалась сполна — когда перестала быть шуткой. «Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш! И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены» — предрекал Исайя и оказался прав. Петля замкнулась! Простите!

Я соврал. Я не трогал людей, потому что не считал себя вправе отнимать чужие жизни. Даже глупые жизни, даже если они не понимают, что живут в страдании, все эти уроды, я оставлял им право быть слепыми и счастливыми! Я не мог их заставить прозреть, как Христос заставил прозреть слепорождённого, и тот, прозрев, тут же обрёл ужас... Но в этом случае у меня не было выбора. Все «ковбои» мертвы. Экспериментальный двигатель работает исправно и управление выше всяких похвал. Мировые державы и их учёные потрудились на славу...

Возможно, Каин не только научил людей возделывать землю, но и создал первые кирпичи — обработал камней, заключил их в оковы геометрии и поработил.

Ведь первый градостроитель, чёрт побери! Возможно, я осознал свою ошибку. И теперь хочу её исправить.

Я взял на себя управление, и приборы работают точно. Мы летим! Я разрушу все города, и принесу новую жертву своему Отцу. Я узнаю Его по тому — как Он её не отвергнет!

6. *Hyperstition*

Господи, да какие там «космические ковбои»! Это нелепо и смешно.

Мне просто хотелось быть к этому причастным, быть *причиной* этого. Но всё не так. И концовку мне лень переписывать, ведь всё дело... *вначале... было...*

На самом деле, никто никого не посылал останавливать падающий на Землю астероид. Все суетились и сходили с ума перед гибелью. А я просто ждал и радовался. Я и, наверно, ещё кучка психов, которые с восторгом приняли весть о конце света.

Мне просто хотелось бы придумать этот камень, если бы он сам не прилетел. Направить своей рукой, как тогда — с этой аспиранткой. Это могла быть любая баба, которая с таким полноценным коровьим счастьем вынашивала ребёнка — очередную подачку мяса этому миру. Так же, как когда-то вынашивали меня... Это и есть причина моего ресентимента.

Но ни тогда, ни сейчас я не стал причиной мести. Я лишь восторженный свидетель гибели... ублюдок рода человеческого. И мой единственный грех, за который мне стыдно: что ко всему этому я не приложил руку, а камень просто летит.

С другой стороны: я так ждал его! Может быть, всё-таки я подарил ему свободу?

Эта мысль меня чуточку обнадеживает.

Евгений Долматович **АГОНИЯ**

Ребенок умер перед рассветом.

Ночью его поглотило беспамятство: он метался в ворохе грязного тряпья, а судорога крутила ему ноги. Его бил озноб; сам он невидяще таращился куда-то в пустоту, выл. Пару раз даже произнес какие-то слова, только вот смысла в них было немного.

А снаружи свистел ветер, угрожающе скрипел дом. Женщина не знала, есть ли там, на улице, кто-то и мог ли он услышать ребенка. Впрочем, ночами уже редко кто выбирался, только если самые отчаянные, кого выгоняла нужда. Либо же вконец обезумевшие.

Правда, помимо людей там мог бродить и некто иной...

Об этом женщина старалась не думать. Она баюкала ребенка, шептала ему всякое, смачивала его горячий лоб мокрой тряпкой. Даже попробовала влить ему в рот собранной накануне дождевой воды. Бесполезно. Ребенок закашлялся, судорога перебросилась ему на живот, изо рта и носа хлынула слизь. Стерев рвоту, женщина прижала ребенка к себе, вновь принялась баюкать. Он бредил, жевал язык, смотрел на нее остекленевшим взглядом... Нет, не на нее, а куда-то сквозь, во мрак, что чернее самой черной ночи и самой одичалой души. Ребенок смотрел в предвечную тьму, на приближающуюся смерть.

Женщина знала это, но усердно гнала подобные мысли прочь.

Поняв, к чему все идет, она постаралась изничтожить в себе оставшиеся чувства, выжечь их. Давно уже не человек, а так — остов, развалины того, кем она когда-то являлась, — женщина знала, что никакие

чувства ей не помогут, лишь все испортят. Чувства, эмоции, — они всегда все портят, мешают мыслить здраво. Такого нельзя допускать. Особенно теперь, в этом мертвом мире. Женщина знала все это, помнила... И потому упорно душила в себе остатки бывлой человечности.

В какой-то степени так она готовилась к неизбежному.

И неизбежное случилось перед рассветом.

Ребенок выгнулся в ее объятиях, взвизгнул, лихорадочно затрясся. В его воспаленных глазах мелькнула искра — узнавания ли, может, осознания грядущего, — а затем взгляд потух, его заволокло пеленой. Один зрачок съехал чуть влево, губы натянулись, обнажив осколки зубов, тело содрогнулось — раз, другой, — и обмякло. Последний вздох ребенка отдавал прелой гнилью. Так пахли его разложившиеся внутренности. Так пах он сам.

Так пах весь мир вокруг.

Тогда в груди женщины что-то со свистом лопнуло. Она втянула ноздрями воздух, иступленно стиснула безвольное тельце, зажмурилась и до крови закусил губу.

Но не издала ни единого звука.

Так и сидела в стылом мраке подвала, обнимая мертвого ребенка, покачиваясь в такт своему горю и слушая, как снаружи свистит ветер...

С тех пор, как не стало ребенка, минуло уже несколько дней. Во всяком случае, так думала женщина.

На самом деле, она не могла с уверенностью сказать, сколько прошло времени. Время умерло вместе с миром. Некогда яркое, дарующее тепло солнце выгорело, потускнело, и отныне тягучая ночная тьма сменялась лишь ябкими, пахнущими гарью и тленом сумерками. Все потерялось в этой непроходящей мгле: сгинули люди, зверье, бесследно исчез какой бы то ни было смысл. Существование скатилось до остервенелой грызни за еду, за выживание, — только вот ради чего?

А время... ну, время измерялось теперь гулом крови в ушах, вялым биением в груди. Иного времени в этом мире не осталось.

Поэтому, сколько женщина просидела в подвале, баюкая давно уже остывшее, одревеневшее и начавшее портиться тельце, она сказать не могла. Впрочем, ее это и не волновало.

Смерть ребенка будто бы что-то повредила у нее в голове, нарушила привычный ход мысли. Такое случилось и раньше — когда погибла вся ее семья. В тот раз, отдавшись на волю судьбы, женщина — вся растерзанная, едва дышащая, — в конечном итоге пришла к определенной осознанности. Если измученное тело ее было готово принять смерть, то разум вопреки всему цеплялся за жизнь. Так женщина снова обрела себя — она дышала, жила, сколь бы отвратительной ни казалась ей жизнь.

Это и привело женщину в подвал давно заброшенного дома. К почерневшему трупiku на руках, к слабому биению в груди — время? зачем оно нужно? — к такому вот итогу, убившему остатки веры, растоптавшему всякую надежду.

Поэтому женщина и сидела, баюкая ребенка, откровенно слушая свист ветра снаружи, скрипы и хруст вот-вот готового обрушиться дома. Когда догорел огарок парафиновой свечи, подвал наполнился мраком, а с приходом ночи и вовсе утонул во тьме. Женщина не обратила на это внимания. Как не обращала внимания на холод, на болезненные спазмы в желудке, на обволакивающий смрад гниющей плоти — помимо мертвого теперь уже ребенка в подвале еще имелся труп собаки, который им посчастливилось отыскать в лесу и которым они несколько дней поддерживали свои силы, — как и на гной, заливавший руки. Все это женщину мало заботило. Она невидяще смотрела во мрак, что-то тихо-тихо подвывала. Колыбельную, как ей казалось, хотя на самом деле то был просто скулеж. Порой ей слышались чьи-то шаги над головой, струившиеся из темноты голоса, истошные вопли. А еще мерещились

скрюченные тени в углах и бледные физиономии с выпученными глазами, торчащими зубами и капающей слюной — иссушенные голодом и безумием.

Один раз головка у нее на руках будто бы повернулась.

— Мама? — позвал ребенок.

Женщина с любовью посмотрела в засохшие глаза, нежно погладила липкий лоб.

— Все хорошо, — прошептала она.

Вернее, попыталась прошептать, так как во рту было сухо, язык распух и не слушался.

— Мамочка?

И сквозь это оплывшее, перекошенное смертью личико неожиданно проступило иное.

В промозгом мраке подвала кто-то всхлипнул, и женщина вздрогнула. Лишь когда горячая слеза обожгла щеку, женщина поняла, чей это был всхлип.

— Мамочка?

Она вновь погладила холодную склизкую голову, заглянула в глазные впадины и увидела там задорный взгляд совсем другого ребенка. Что-то из прошлой жизни — такой далекой, такой нереальной...

Что-то из тех времен, когда мир еще был живым.

Женщина снова всхлипнула.

Воспоминания превращались во сны наяву. Солнце — яркое, слепящее... и голубое, в пухлых облаках, небо... и шум города — кругом зелень, на деревьях птицы... и идущие мимо люди — вполне здоровые, сытые, которых не надо опасаться...

— Мамочка, когда мы пойдем в зоопарк?

— Скоро пойдем, — вздохнула женщина.

Ее тело, вытерпевшее так много боли, напомнило о себе. Сколько уже она не ела? Сколько не пила?.. Как вообще умудрилась просидеть здесь — неподвижно, баюкая мертвого ребенка, — столько времени?

Эти мысли показались ей чужеродными, приплывшими откуда-то извне. Ведь ее рассудок больше не мог порождать никаких мыслей: он умер — как и ребенок, как и семья, как и весь мир. А значит, это все темнота

глумится; значит, все эти голоса, видения — всего-навсего порождение разверстой могилы, милосердие смерти — за миг до того, как навсегда остановится сердце. Смерть не ужасна — она избавление, величайший дар, какой только можно заполучить.

А значит, пора уже умирать!

И, осознав это, женщина стиснула вздущееся от трупных газов тело, которое тут же лопнуло. На колени ей выплеснулось что-то скользкое и зловонное, смрад удушливым облаком окутал подвал...

Женщина зажмурилась. Еще мгновение, и все будет кончено! Смерть вот-вот заберет ее. Во тьму заберет. Но не в ту, что снаружи — мерзлую, пропитанную запахом гари и гниющих тел. Нет, тьма смерти иная, в нее можно погрузиться, как в непробудный сон: ничего больше не видеть, не чувствовать.

Просто не быть!

— Мамочка?

Но сколько бы женщина ни ждала, смерть почему-то не объявлялась. Смрад забивал ноздри, судорога в желудке перешла в нескончаемый болезненный спазм, мышцы в руках и ногах заныли, завибрировали, будто бы проткнутые острыми иглами. А смерти не было. Лишь образы проносились перед глазами причудливым калейдоскопом, кошмары наслаивались, смешиваясь с воспоминаниями. От одних хотелось бежать и прятаться, от других — выть. Выть громко-громко, пока не лопнут голосовые связки.

Женщина молчала, баюкала ребенка.

— Мамочка, пойдем в зоопарк!

— Обязательно пойдем...

А может, она уже умерла и попросту не заметила этого? Может, она лежит в обнимку с этим ребенком, их плоть вспучивается пузырями, разрушается, зарастает плесенью. Кожа отслаивается, внутренности превращаются в кашу. Обнажаются кости. Внутри же всюю копошатся черви и различные жучки. А высохшие глаза по-прежнему глядят в пустоту, на даруемые смертью видения.

Только вот нет избавления, нету спасительной темноты. Смерть — жалкая обманщица!

— Мабочка, пойдем уже в зоопарк! Ты обещала!

— Обещала... — хрипло отозвалась женщина.

Да, она действительно обещала — когда-то давно, совсем в иной жизни. Там, в городе. Надеть легкое ситцевое платьице и белые сандайки с застежками в виде бабочек, на запястье — золотой браслетик, на плечо — сумочку. Крепко сжать теплую ладошку. И по цветущим улицам, улыбаясь проходим, наслаждаясь чудесным летним днем...

Обещала.

И тогда рассудок женщины окончательно пошел трещинами, начал крошиться: она поняла, что нужно делать.

Аккуратно отложив труп ребенка, она минутую другую смотрела на него, ласково поглаживала, а после заботливо укрыла валявшимися здесь же тряпками, которые долгое время служили им обоим постелью. Скривившись, даже застонав, женщина поднялась на ноги, сделала несколько неуверенных шагов. Все болело, конечности отказывались подчиняться. Ее тело было солидарно с телом ребенка — оно считало себя мертвым, а мертвое, как известно, не шевелится. Мертвое должно лежать и разлагаться.

В бутылке еще оставалась вода, и женщина жадно ее выпила. Это притупило жажду, хотя во рту все так же было сухо, а распухший язык грозил перекрыть гортань.

Глаза давно уже привыкли ко мраку, женщина ориентировалась в нем точно хищный ночной зверь. Она осмотрела свои ботинки — подошвы были пусть и стоптаны, но в порядке, однако швы по краям уже начали расходиться, да и шнуровка истерлась, — затем проверила нож на поясе, взяла рюкзак и с трудом закинула на плечо. Все это она проделала на автомате, совершенно не задумываясь о том, зачем оно нужно. Лишь рефлекс, ставший уже безусловным, — подготовка к дороге, к вылазке...

На выходе из подвала женщина наткнулась на кучу из свалявшейся шерсти, гнили и костей — все, что осталось от собаки. Женщина очень давно ничего не ела, но трогать собачьи останки не решилась. С момента, как умер мир, всяким приходилось питаться, и желудок уже был приучен к самой разной пище. Но собака больше не была пищей. Теперь это был сплошной яд. Поэтому женщина не стала ее трогать, как бы сильно ни крутило живот.

Если повезет, она найдет пропитание. А если нет, то тех немногих сил, что в ней остались, ей хватит — должно хватить! — чтобы добраться до города. Раз уж она не умерла здесь, раз уж не умерла раньше, значит, она сумеет осуществить то, что задумала.

Она отведет свою дочь в зоопарк.

Мир погиб как-то слишком внезапно.

Это уже после возникло обманчивое коллективное ощущение, будто были какие-то предзнаменования, некая угроза витала в воздухе, и что если бы люди спохватились вовремя, если бы попытались, то смогли бы остановить надвигающийся кошмар. Ерунда. Смерть мира сложно предвидеть, еще сложнее предотвратить.

В особенности, когда речь идет о самых обычных людях.

Так что женщина не задумывалась о том, что и почему стряслось, кто виноват и как все исправить. Мир умер, и смерть его была воистину ужасной — о чем еще говорить?

Да, тем, кого пожрал кошмар первых дней, наверное, можно позавидовать. Для них все случилось мгновенно, они даже не успели сообразить. И уж тем более не увидели того, что происходило дальше.

Женщине повезло меньше...

Когда она выбралась из подвала, на улице по обыкновению было мглисто — то ли раннее утро, то ли поздний вечер. Из-за того что солнце тоже умерло, определить время суток стало практически нереально.

Только ночь выделялась своей почти что крошечной — и ледяной, как ад, — темнотой. Тьма эта потоками низвергалась с небес на землю, захлестывая собою все, просачиваясь даже в самые укромные уголки. Тьма заползала в душу, сводила с ума.

Днем же мир тонул в студеной маслянистой мгле, от которой в легких цвела черная плесень, а при кашле рот наполнялся кровью.

Впрочем, будь на улице и самая глубокая ночь, женщина вряд ли повернула бы назад. В ее треснувшем рассудке отныне была лишь одна установка, задача, после которой ничего уже не было и быть не могло.

И потому, выбравшись из подвала, женщина плюнула на осторожность. Она вышла на дорогу и, не оглядываясь, побрела в сторону города.

Грязь вперемешку с пеплом чавкала под ногами, а вдоль обочин тянулся унылый пейзаж вымершего поселка. Одинокие бревенчатые домики — некоторые без крыш, — покосившиеся дощатые или из профнастила заборы, разграбленный давным-давно магазин, возле которого стоял сожженный дотла грузовик. Сгнившее дерево, раскрошившийся кирпич и покореженная ржавь — вот и все, что осталось от людей.

А желудок по-прежнему сводило от боли, но женщина знала, что искать еду в поселке бессмысленно. Со смертью мира умерла и всякая растительность — высохшие деревья топорщились кривыми ветками, трава пожухла и превратилась в перегной. Животные тоже исчезли — то ли вымерли, то ли были сожраны тем, что обитало в ночи. Даже птиц не осталось.

Женщина догадывалась, что кто-то, конечно, да уцелел — не зря же они с ребенком нашли совсем еще свежий труп собаки. Да и до этого иногда попадались облезлые крысы и тощие одичавшие кошки, в небе можно было заметить ворону, в земле откопать жирного червяка, а под трухлявым пнем обнаружить семейство мокриц или какого-нибудь жука. Скучная пища, но лучше, чем ничего.

Как-то раз они даже набрали на болото, полное полудухлых карасей. Рыба плавала кверху брюхом, вяло шевелила плавниками. В тот день у них был самый настоящий пир.

И все это было задолго до того, как ребенок заболел и они укрылись в подвале. С тех пор окружающий мир прогнал еще больше. Даже в воздухе теперь ощущался лишь запах гнили — он забивал ноздри, вяз на языке...

На выходе из поселка женщина увидела путевой указатель — проржавевший, он валялся в овраге в ворохе листьев. Но ей таки удалось прочитать название города, куда она шла, и количество километров. День — два пути, не больше.

Она справится.

В конце концов, у нее попросту нет выбора.

— Мамочка, мы идем в зоопарк?

— Да, солнышко, — беззвучно прошептала женщина.

Она тяжело вздохнула и уставилась на окутанный аспидной дымкой горизонт. Сердце забило сильнее, а правая рука, словно бы сама по себе, потянулась за спину. Пальцы разжались, принялись осторожно ощупывать пространство.

Женщина ждала, что у нее в ладони вот-вот окажется теплая мягкая ладошка.

Женщина ждала долго, не моргая. Ждала до тех пор, пока не защипало в глазах.

Никто не взял ее за руку.

Ее дорога была дорогой беспамятства и галлюцинаций.

Серость дня мало-помалу тускнела, перетекая в сумерки. Как если бы день тоже портился, разлагаясь, подобно труп.

Желудок все так же крутило и дергало, в сальности волос зудело от вшей, ноги не гнулись, а еще, судя по всему, лопнула и кровила давнишняя мозоль. Как назло, шнурки на левом ботинке окончательно порвались, из-за чего идти стало неудобно.

Женщина терпела, глядя строго перед собой. В одном месте она набрела на лужу и долго, отфыркиваясь, глотала безвкусную, с мазутной примесью, воду. Это событие не отпечаталось в памяти — скользнуло и прошло мимо. В принципе, как и весь путь — с момента, как женщина выбралась из подвала.

Воспоминания о луже пришли лишь тогда, когда по ногам заструилось горячее. Женщина вздрогнула — больше от образов прошлого, заполонивших голову, нежели от того, что обмочилась. Ощущение чего-то горячего на тощих, расчесанных до крови ляжках вернуло пережитый некогда ужас. Хохот и сопение... Раздирающая изнутри боль... Грубые пальцы с острыми ногтями, царапающие кожу... Зубы, норовящие вырвать кусок пожирней...

И еще этот запах — сочный, обволакивающий... Да, хуже всего был именно запах!

А после...

Ужас вернулся только на миг — и все исчезло.

Женщина молча шла дальше, а навстречу ей уже надвигалась ночь.

Когда дорога стала почти не видна, женщина таки сдалась, повернула к лесу. Там, среди бурелома, она заприметила рухнувший дуб. Замшелый ствол его был огромен и упирался в другие деревья, а сразу под стволом образовалось углубление, пахнущее сыростью и прошлогодней листвой. Туда-то и забилась женщина.

У нее не было зажигалки, не осталось спичек. Впрочем, развести в таком месте костер она бы и не отважилась. Она просто вытащила из рюкзака провалявшееся плесенью одеяло, закуталась в него и попыталась уснуть.

Ночь и голод не позволили ей этого сделать. Боль в желудке была почти нестерпимой, и женщина принялась шарить руками впотьмах, надеясь отыскать какое-нибудь насекомое, замерзшую ящерицу или лягушку. Нашла лишь сухие ветки и пальую листву. Чтобы хоть как-то заглушить чувство голода, женщина начала есть листву. Неторопливо жевала ее, пытаясь смо-

чить слюной, с усилием глотала прогорклую кашицу и тут же пихала в рот новую горсть.

А ночь вокруг полнилась звуками. Шелестел на ветру мертвый лес, порой что-то хрустело, с треском падали ветки. Где-то вдали кто-то жалобно взвыл — возможно, собака. Взвыл раз-другой, затем взвизгнул и умолк.

Женщина не обратила на это внимания. Она жевала сухие листья, тряслась от холода и от спазмов в животе, и невидяще глядела во тьму.

Тьма же глядела на нее в ответ — так же невидяще, хладная, как труп. В мертвом мире даже тьма была мертвой.

А потом явились кошмары.

Кто-то сидел рядом с женщиной, но она не смогла рассмотреть, кто именно. Этот кто-то был небольшого роста, а пахло от него гарью и... жареным мясом. Рот тут же наполнился слюной, женщина сплюнула, отвернулась. Мимо, шатая деревья, брело нечто огромное. В вышине, среди туч, полыхали глаза. Женщина замерла, постаралась не дышать.

Тот, кто сидел рядом — а это был ребенок, — зашевелился.

— Мапочка?

Женщина зажмурилась, пуская грязную слюну по подбородку. Запах жареного мяса был невыносим.

— Мапочка?

Нечто огромное, продиравшееся сквозь лес, остановилось, принялось. Видимо, тоже учуяло этот запах.

— Беги! — крикнул муж.

Женщина не двинулась с места. Она знала, что все это — лишь ночные кошмары. Воплощенные в реальность — пускай и исковерканную, но все же, — они явились людям на смену, заселили мертвый мир. Отмахнуться от кошмаров было нельзя, но можно было попробовать не обращать внимания. Потому что иначе...

Иначе придет безумие.

На самом деле никого рядом с женщиной не было. Ее муж ничего ей не кричал, потому что ему перерезали горло. Прямо у нее на глазах перерезали. И дочери тоже. Это произошло уже очень давно — в первые месяцы... или, может, в первый год после гибели мира. А значит, все, что она видела и слышала теперь — лишь ожившие сны. Так запертая до поры до времени память просачивалась из трещин ее расколотого разума.

От этого стало тоскливо.

Тогда женщина открыла глаза и повернула голову. В темноте и впрямь угадывались очертания чьей-то фигурки.

— Мапочка, а когда мы пойдем в зоопарк?

— Завтра, милая, — прошептала женщина.

— Правда?

— Да. А сейчас маме надо поспать.

Она отвернулась, закрыла глаза.

Ветер загадочно шумел у нее над головой, начался дождь. И нужно бы достать бутылку, набрать воды себе наутро... Только вот не было бутылки. Она осталась там, в подвале. Там, где умер второй ее ребенок.

С тем женщина и провалилась в горячее забытие. Ей снилось ли, чудилось, как ее семью окружили, как мужа ударили по затылку, как кто-то высокий, с всклоченной бородой и безумным взглядом, закинул ее дочь на плечо — будто мешок с картошкой, ей-богу. Женщина кричала, а вокруг все смеялись, улюлюкали. Следом был удар по лицу, хруст сломанного носа, тьма, отблески пламени и извивающиеся во мраке фигуры. Были вытаращенные глаза мужа — этот ошалевший взгляд, эта агония, осознание, что пришла смерть, — когда длинным острым ножом ему вспороли горло, когда хлынула кровь... Затем наступил черед дочери — здесь-то сознание женщины и помутилось... Остальное было лишь набором разрозненных эпизодов, из которых с трудом удавалось сложить цельную картину... Писк дочери, взмах топора и катящаяся по земле головка... Зарево костра... Взгляды мужчин, ошупывавших женщину, срывавших с нее одежду... Черный

дым, устремлявшийся в черноту же ночи... Раздирающая изнутри боль, кровь и белесое семя на ляжках, на груди, повсюду... Сопение мужчин, их обезумевшие взгляды, вонь их давно немых, уже начавших подгнивать тел... Снова зарево костра, снова боль... Чьи-то зубы, вцепившиеся в сосок, раскусившие его, выдравшие с мясом... Боль, боль... Искры от костра... Много зубов, много крови... Вопль, от которого будто лопнуло горло... Их смех, чавканье... Ее хрипы... А дальше — спасительный омут беспамятства... И опять костер, костер, костер...

И сочный аромат жареного человеческого мяса.

С рассветом женщина снова была в пути — плелась по пустынной дороге, а вдоль обочин все так же тянулся мертвый лес. Затем он сменился безжизненным полем, где вдали, на холме, среди рытвин и воронок стоял увязший в грязи танк. Потом началась очередная обезлюдившая деревня: сторевшие дома, церковь с провалившимся куполом — потому что Бог тоже умер, — ржавеющие автомобили, обугленные лошадиные кости...

Судорога уже не так крутила живот. Хотя, возможно, женщина просто привыкла, утратила чувствительность. Проснувшись, она обнаружила, что лежит в собственной рвоте. Еду из опавших листьев желудок не принял и исторг назад. А еще женщина обнаружила, что вновь обмочилась — в этот раз кровью.

Как и все прочее, это несколько не беспокоило. Тело давно уже было сломано. Испещренное множеством уродливых шрамов и отпечатками зубов — а там, между ног, женщина вовсе была вся изорвана, — источенное болезнями и постоянным голодом, тело это держалось лишь на одной силе воли. Женщина знала, что когда доберется до города, тело ей больше не понадобится. Но до тех пор...

Поэтому она не стала гнушаться, наткнувшись на птичий трупик: уселась на дороге, зарылась пальцами в перья и гниль, начала выбирать опарышей. Когда те

закончились, женщина принялась обсасывать косточки. Желудок было взбунтовался, но она удержала пищу в себе. Яд это или нет, но он притупит голод, позволит дойти до конца.

Напившись из очередной лужи, женщина продолжила свой путь.

О пережитом ночном кошмаре она старалась не думать. Все это было прошлым — беспощадным, бередившим душу и сбивающим мысли, — которое таскалось за женщиной по пятам. Точно таким же прошлым, как у всех остальных, — преследующим, сводящим с ума. Оттого и развелось столько безумцев. Они не смогли вынести то, что им довелось пережить. Как и не сумели примириться с тем, что пришлось совершить ради выживания. Прошное и было кошмаром. Безумие же — осознанием, во что ты превратился.

Так что проще было не думать, не вспоминать — откинуть прослойку цивилизованности, с головой нырнуть в первобытность и, завывая, носиться по лесам, как дикий зверь.

Таковы были мужчины, убившие ее мужа и дочь. Саму женщину спасло то, что на тот момент в мужчинах еще не до конца отмерли былые инстинкты. Попадись она им теперь, они бы не стали с ней церемониться — распотрошили бы и тут же сожрали, даже не удосужившись развести огонь, чтобы поджарить мясо. Но тогда они все еще считали себя людьми. Поэтому и сохранили ей жизнь — ради развлечения, ну и чтоб сберечь ее мясо подольше. И как бы она ни умоляла прикончить ее — они не слушали. Посмеивались, били ее, насиловали, но убивать не спешили. В конце концов, в запасе у них еще было мясо...

Спасти ее удалось по чистой случайности. Когда человеческое отмерло в них, когда они окончательно обезумели, они попросту перерезали друг друга. Так женщина и выжила.

Но что толку, если даже им повезло куда больше, чем ей? Ведь для них все закончилось, а она — что

она? Она даже не смогла наложить на себя руки — самоубийство вообще словно выпало из ее поля зрения, осталось в прошлом, как один из элементов нормальности. Нынешний мертвый мир не признавал самоубийства. Жизнь в этом мире была не более чем затянувшейся агонией, обреченной длиться до тех пор, пока не сжалится смерть.

Поэтому женщина плелась по опустелой дороге, чтоб отвести свою давно уже умершую дочь в...

— В зоопарк! Мы идем в зоопарк!

— Да, солнышко, — тихо произнесла женщина. — Мы с тобой идем в зоопарк.

И плелась себе дальше.

Тусклое мерзлое солнце плыло меж облаков, в лицо били порывы ветра, а со стороны города напозлали тяжелые тучи. Путь подходил к концу. Скорей всего, уже к вечеру она пойдет знакомыми улочками, мимо домов и машин...

И, возможно, даже стиснет теплую мягкую ладошку. Крепко-накрепко стиснет, чтоб никогда больше не выпускать...

А потом женщина вспомнила про ребенка, который навечно остался в подвале. Он был ей никем, она наткнулась на него случайно. Напуганный, одичавший, он жил в одной комнате с телами своих родителей. Женщина не знала, от чего те умерли. Но, глянув на их обглоданные кости, догадалась, что какое-то время они служили ребенку пищей. Маленький людоед, он тоже обезумел — не вынес того, что совершил и в кого превратился.

Поначалу она даже подумывала его убить, схватилась за нож. Но рука дрогнула, пальцы разжались и нож выпал. Женщина разрыдалась.

Ребенок же испуганно следил за ней из своего укрытия под кроватью. О том, что творилось в тот момент в его голове и по какой причине он в итоге увязался за женщиной, оставалось только догадываться. Он упорно держался на расстоянии, настороженно слушал ее, не выпускал из виду — прям как зверек.

Когда ей это надоело, женщина попробовала его прогнать. И он убежал, затаился где-то. А после объявился вновь.

С того дня женщина больше не была одна. И если первое время они поглядывали друг на друга с недоверием, то постепенно это переросло в нечто сродни привязанности. Пока однажды ночью, под неустанный шепот кошмаров, ребенок вдруг не прижался к ней. Она обняла его, он зарылся ей подмышку и... уснул.

А она не моргая смотрела во тьму, слушая его дыхание, ощущая жар его тела — столь чуждые окружающей стылости и безмолвию.

В ту ночь что-то в женщине будто бы изменилось, рассудок стал восстанавливаться, в душе зародилась надежда...

А пару месяцев спустя ребенок умер. В окутанном влажной темнотой и увитом паутиной подвале — заывая, содрогаясь в конвульсиях, так и не придя в себя...

Ее горькие воспоминания были прерваны криком. Эхо его прилетело откуда-то издали — кажется, со стороны леса...

Женщина не обернулась, решив, что ей просто мерещится. В мертвом мире нет места крикам, здесь царствует могильная тишина...

И тут грянул выстрел.

Что-то с силой ударило в плечо — так, что женщине сбilo с ног, швырнуло лицом на дорогу. Левая рука вдруг сделалась будто чужой — двигалась с трудом, неохотно. Следом явилась боль — острая, пропарывающая насквозь...

Женщина услышала шаркающие шаги, попыталась перевернуться на спину.

Чьи-то цепкие пальцы впились ей в волосы, дернули вверх. Она увидела иссушенное землистого цвета лицо — все в гнойных язвах, — и грязную, с копошащимися в ней жучками, бороду, и раззявленный рот с

черными пеньками зубов, и обильно стекающую слюну...

И уже после — выпученные глаза безумца.

— Мясо! — гаркнул он.

Женщина попыталась отпихнуть безумца, но тот уже навалился, принялся ощупывать ее бедра, тело — так, словно до сих пор сомневался, реальна она или нет.

— Мясо, — повторил он. — Мясо...

Его трясло — быть может, от нахлынувшего адреналина, а возможно, сказывалась давнишняя болезнь. Видимо, именно поэтому женщина до сих пор была жива: безумец целился ей в затылок, но промахнулся. В который раз смерть прошла мимо...

Левая рука по-прежнему не работала, и, скосившись на нее, женщина увидала кровь.

Безумец тоже это заметил. Он выронил охотничью винтовку, вцепился обеими руками в раненое плечо, зарылся туда лицом и начал жадно сосать.

Улучив момент, женщина извернулась, скинула его с себя и постаралась отползти. Безумец обиженно посмотрел на нее. Его лицо и борода были перепачканы в крови, а сам он, громко чавкая, жевал собственную слюну.

— Мясо не должно уходить, — зачем-то сказал он. — Мясо должно остаться.

И облизнулся.

— Мне надо, — сказала женщина, нащупывая нож на поясе.

Безумец озадаченно уставился на нее, словно пытался понять, что значат ее слова. Затем, заметив, что добыча явно норовит удрать, пополз следом.

— Мясо! — взвизгнул он.

Из-за того, что левая рука почти не двигалась, ползти было трудно. Сил у женщины уже не оставалось. Впрочем, у преследователя, судя по всему, тоже.

И тем не менее он ее догнал, подмял под себя и попытался придавить своим весом к земле. Получилось

не очень, так как оба были крайне исхудавшие и весили приблизительно одинаково.

— Мясо не должно уходить, — захныкал безумец.

— Я должна! — крикнула ему в лицо женщина. — Должна отвести свою дочь в зоопарк!

Безумец изумленно заморгал. Казалось, будто в голове у него что-то прояснилось, будто там — за стеной беспробудного сумасшествия — выглянул человек. Тот нормальный человек, каким он был когда-то.

— В город? — пробормотал он. — Но ведь туда нельзя! Ведь там же...

В этот момент женщина таки нащупала нож,хватила его из чехла и, воспользовавшись замешательством безумца, ткнула его лезвием в горло.

Безумец отпрянул, свалился на спину, засеменил ногами. Он забулькал кровавой пеной, сипло забормотал, заныл. По щекам его, оставляя грязные разводы, струились слезы. Минутой позже он был мертв.

Женщина приподнялась на локте, затем, кряхтя и стискивая зубы от боли, села. Убедившись, что безумец не дышит, тщательно осмотрела плечо. Вроде как пуля прошла навывлет. Но то ли оказалась повреждена кость, то ли сухожилия, то ли еще что — в общем, шевелить рукой было трудно.

Женщина попробовала встать на ноги, но у нее кружилась голова, сил в теле не было. Обернувшись, она посмотрела на линию горизонта, на темные руины города и стремительно надвигающуюся ночь. Путь был почти завершен, а она никак не могла заставить себя подняться: тело хотело умереть.

Женщина закрыла глаза.

— Мапочка, почему мы не идем в зоопарк? — зашеlestели тени вокруг.

Женщина вздрогнула, заскулила:

— Я не могу, милая...

— Но ты же обещала!

— Я знаю. Прости, но я не могу... Прости меня!

— Ты обещала! — рявкнули тени, столпившись вокруг женщины, глядя на нее высохшей пеной глаз,

осуждающе тыча в нее скрюченными в трупном окончании пальцами. — Ты обещала! Обещала! Обещала!..

Женщина сжалась в комок. Она всхлипывала, слушая эти обвинения, этот вой мертвецов — единственных, кто еще остался в этом мире. Нет, этот грозный вой не позволит ей просто взять и умереть. Перво-наперво она должна завершить то, что начала. Последние километры пути... город... зоопарк...

И то, что ждет ее там...

Женщина пошарила рукой возле себя, нашла нож и поползла к уже начавшему остывать безумцу. Она не смотрела в его полуоткрытые глаза, как и на его изъеденное какой-то заразой лицо. Она не чувствовала мерзкого гнилостного запаха, что от него исходил. Она не обратила внимания даже на рану в горле, из которой по-прежнему вяло сочилась кровь.

Женщина вообще больше не видела перед собой человека — в любом смысле этого слова.

Все, что она видела, так это...

— Мясо!

Когда она вошла в город, его уже окутала ночь.

С обеих сторон от проспекта угрюмыми рядами возвышались громадины домов; провалы окон, казалось, дышали холодом. А улица была завалена сожженными машинами, усыпана пеплом, костями и грязью.

Женщина шла молча, изредка оглядываясь по сторонам. И над головой ее — в предвечной темноте — сияли безучастные ко всему звезды.

Город был мертв, как и все в этом мире. Но смерть здесь ощущалась особо остро — полуразрушенные дома будто бы нависали над женщиной, давили своим безмолвием. Могильник — вот что вертелось у нее на языке. Гигантский могильник, в который превратилось некогда цветущее средоточие жизни.

По улицам гулял ветер; он трепал оборванные провода, свистел в вышине между зданий, срывал облом-

ки крыши, завывал в пустующих помещениях. Кроме него иных звуков не было.

Женщина слышала свое сиплое дыхание, вялый стук своего уставшего сердца. Она упрямо шла вперед и старалась взглянуть на город глазами своей памяти. Преобразить его, сделать таким, каков он был, — залитым солнцем, шумным, цветущим, наполненным суетой. Но память тушевалась пред столь огромной могилой: воспоминания возникали бледными силуэтами, тускнели и бесследно растворялись во мраке.

И не было слышно голоса дочери, никто не просил отвести в зоопарк, не звал, не требовал... Лишь тишина давила на уши, сводила с ума.

И тогда женщина поняла, что весь ее путь был напрасен; поняла, что она попросту спятила, как и все прочие: сочинила себе глупую цель на те несколько дней, что ей еще оставалось жить. Здесь-то она и умрет. Ляжет посреди этих мертвых улиц, закроет глаза и погрузится во тьму — в тот спасительный омут небытия, о котором так мечтала.

Женщина рухнула на колени, зарыдала — громко, отчаянно, как не позволяла себе уже очень давно. С того дня, когда убили ее семью. Она несла в себе это горе, весь этот ужас, чтоб в итоге очутиться здесь — среди уходящих к небу опустевших домов, под равнодушные взгляды оконных провалов.

Простреленное плечо уже давно онемело. Пусть женщина и постаралась перетянуть рану, но догадывалась, что, так или иначе, потеряла много крови. А значит, осталось уже недолго. Значит, можно больше не беречь силы.

И она закричала — громко-громко, срывая горло до болезненной хрипоты.

И крик ее эхом пронесся по улицам, нарушил могильную тишину, вспугнул воцарившуюся темноту и...

...потревожил что-то.

Там, вдали, оно пробудилось и выгнуло спину. Его густая черная шерсть топорщилась над крышами, его длинный лысый хвост скользил по зданиям, цепляя

балконы. Исполинской тенью оно по-кошачьему мягко ступало между домов.

Женщина слышала, как это нечто — огромное, колоссальных размеров! — приближается. Она вытерла слезы, вгляделась во тьму, но ничего не увидела. Что бы это ни было, оно сливалось с тьмой, было самой ее сутью.

И вот оно вынырнуло из проулка и, заприметив женщину, неспешно двинулось к ней.

Женщина тоже увидела это — мускулистые лапы, поджарое тело животного, лоснящуюся шерсть, длинный крысиный хвост. А вместо головы...

Вместо головы у него был бесформенный ком — бутристый, усеянный множеством выпуклых точек.

Но лишь когда нечто приблизилось, женщина разглядела, что точки эти — это человеческие лица. Сотни, тысячи, десятки тысяч лиц, что покрывали бледную массу плоти. И все эти лица таращились на женщину, о чем-то перешептывались друг с другом, смеялись, прищипывали языками, вздыхали и вроде бы даже жалели ее.

Улица наполнилась голосами, в которых нельзя было разобрать ни единого слова.

Нечто нагнулось к женщине, лица что-то зашептали, затараторили...

А женщина смотрела на них — молча, безысходно.

Она не боялась, вообще ничего не чувствовала. Голос ее был сорван, поэтому даже сказать что-то она не могла. Она просто сидела посреди дороги, в пыли мертвого города, в человеческом прахе, и смотрела на то, что явилось к ней из руин, из бездны, в которой был погребен весь мир, из черноты по другую сторону смерти.

А потом она услышала голос дочери:

— Мапочка, иди ко мне.

Бесформенная масса плоти завибрировала, лица сползли к краям, оставив в центре только одно лицо.

Такое родное, такое недостижимое...

Женщина заглянула дочери в глаза, вновь завывала — тихо, насколько хватало сил, отчаянно, насколько способна мать, потерявшая свое дитя.

Она вспомнила то последнее, что гнала от себя прочь; то, что однажды уже разрушило ее разум, а теперь грозило вовсе убить.

То, что и сделало ее самой безумной среди всех безумцев этого мира.

Она вспомнила, как сладко и маняще пахла дочь — разделанная на куски, насаженная на вертел, поджаренная до коричневой корочки.

Вспомнила, как урчало в животе, и как горло заливала густая слюна.

Женщина вспомнила, как валялась там, у костра, — искушенная, изорванная, избитая до беспамятного состояния, — и мечтала только об одном — умереть! Умереть как можно быстрее, чтобы спастись от боли, от ужаса, от отчаяния...

Но в большей степени — чтобы спастись от голода, преследовавшего ее уже несколько недель, от бунта своего тела, требующего еды, от всеподчиняющего желания отведать хоть маленький кусочек этого сладкого, скворчащего мяса.

Мясо...

— Прости, — прохрипела женщина, — прости меня, милая. Я ничего не могла с собой поделать... Я пыталась... Но это... оно...

— Ты не виновата, мамочка, — ответила дочь, улыбнувшись из бескрайней мертвенно-бледной плоти. — Лучше иди ко мне. Останься здесь, со мной. И никуда больше не уходи.

Женщина судорожно всхлипнула, когда лицо дочери вдруг исчезло, а плоть ощерилась частokoлом острых зубов, дыхла жаром.

— Да, солнышко, — прошептала женщина, поднимаясь на ноги, — я останусь с тобой. Я никуда больше не денусь. Навсегда...

Она шагнула в этот жаркий, пахнувший кровью проход, и плоть сомкнулась у нее за спиной, лязгнули зубы...

А дальше была вспышка агонии — миг! — и для женщины все прекратилось.

Наконец-то настала долгожданная тьма.

м е р т в ы й

т е к с т

Юкио Мисима **ГОЛОСА ДУХОВ ГЕРОЕВ²**

1

58

Однажды вечером в начале весны я присутствовал при вызывании духов у Кимура-сэнсэя, и сильные впечатления, полученные при этом, не забудутся до конца моей жизни. Очень многое из случившегося тогда я не решаюсь изложить на бумаге; однако по возможности адекватно описать сохранившееся в памяти — мой долг.

Церемония духовной одержимости, иначе называемая духовным очищением, обычно проводится в храмах и святилищах, с вознесением молитв; это сравнимо с синтоистской церемонией «явного очищения», где действо переходит к духам и через духов, — откуда и само название. В процессе духи проявляются; собственно, незаметно для самого человека в него вселяется дух, а затем, сконцентрировавшись в его душе, овладевает его чувствами, после чего достигается состояние, сходное с вдохновением человека искусства, поскольку люди посторонние, безусловно, не могут его обрести.

В противоположность этому, при «открытом» вызывании, человек, одержимый божеством, самого начала совершенно отчетливо воспринимается всеми окружающими в своем амплуа.

² Eirei no кое, 1966. Перевод с японского Я.Г. Фесюна.

И еще, при проявлении духов существует самоощущение и ощущение других; в первом случае чувства человека и духа сливаются. Нечего и говорить, что на вечере, где я присутствовал, духи проявлялись через ощущения других.

Итак, в случае общения через ощущения других есть вызывающий к духам, говорящий с духами, затем истинный мастер игры на *кото*³, который, перебирая струны, просит дух проявиться; вызывающий почтительно осведомляется; в данном случае почтенный Кимура-сэнсэй — «старец, радующий небо» — заменил мастера игры на *кото* и отправлял церемонию, играя на каменной флейте.

Эта каменная флейта то же, что и «драгоценный камень, успокаивающий демонов», исконно полученный из мира богов; она вполне может соответствовать необходимости. Обычно это — природный камень размером с большой кулак, с большое куриное яйцо; использовались его естественные отверстия, однако в древних инструментах отверстия большей частью делались специально. Каменная же флейта, которую сэнсэй получил от старца Тэнкая, это магическое орудие, была большим предметом, размером с два сложенных вместе кулака, с проделанным в нем отверстием, — таинственный предмет черного цвета, даже позеленевший. Говорят, если хорошо в него дунуть, услышишь восемь тонов; старец Тэнкай получил эту флейту в мире богов.

Итак, как и предполагалось, роль главного божества исполнял Кавасаки Сигэо, 23-летний молодой человек, лишенный зрения, — фигура, идеально подходившая своей послушностью и спокойствием для непосредственно общавшегося с духами Кимура-сэнсэя. Люди, знающие толк в синтоистской школе Сиракава, не преминут подчеркнуть, что одержимыми божест-

³ Тринадцатиструнный музыкальный инструмент. (Здесь и далее в тексте комм. перев.)

вами небес бывают женщины, а мужчинами овладевают божества земли, — но это неверно.

Если кто-то думает, что, когда дух входит во взывающего, тот в помутненном состоянии рассудка начинает кричать и исполнять дикие пляски, ему следует хоть раз побывать на происходящем у Кимура-сэнсэя. Звуки, издаваемые каменной флейтой, раздавались до самого конца церемонии духовного очищения; отсутствовал какой бы то ни было ажиотаж, все было строго и торжественно.

В ту ночь теплый южный ветер, необычный для первой декады марта — ранней весны, — принес с собой дождь, который то сыпал горстями в закрытую дверь, то часто барабанил по оконному стеклу.

Призывание духов не есть, как это представляется взгляду обывателя, любопытное занятие, которое предпринимают из баловства. И еще, после достижения одержимости, если это — новый дух, нет никакой гарантии, что он будет общаться архаическими словами из «Кодзики» и «Нихон сёки». Он свободно пользуется современной лексикой, употребляя иногда даже такие модные словечки, которые ему, вроде бы, и не подходят

В этом случае участники, оставив всякий страх, вступают в приятельские отношения с духом через посредство своего духа и устами основную божества с удовольствием общаются с ним на интересующие их современные темы с помощью дружеских выражений. Однако при всем этом сохраняется некий нерушимый божественный характер духа.

В ту ночь я не знал, что может произойти, и сидел с чистым телом и в чистой одежде, ожидая появления духа, однако нельзя сказать, чтобы у меня не было совсем никаких предчувствий. Стук капель дождя, приносимых ветром, понемногу стихал; в чертах лица «ос-

нового божества» — Кавасаки-куна⁴ — проглядывало что-то бессердечное, совершенно необычное.

К сожалению, Кавасаки-кун в 18-летнем возрасте в результате несчастного случая лишился обоих глаз, и с тех пор у него стало открываться духовное видение; под водительством Кимура-сэнсэя духи явственно представляли перед его внутренним взором, — можно сказать, что он был человеком, у которого открылось второе зрение.

Кавасаки-кун был красивым молодым человеком, со светлой кожей, тонкими бровями, нервными трепещущими крыльями носа, с маленькими нежными губами, имевшим некоторое сходство с женскими; в тот вечер, задолго до начала вызывания духов, он побледнел сильнее обычного и ни словом не обменялся с присутствовавшими.

И вот, наконец Кимура-сэнсэй первый раз дунул в каменную флейту, и лицо Кавасаки обескровилось, став похожим на смутно колышущуюся белую ткань.

Звук каменной флейты вряд ли что-либо говорил человеку, никогда его не слышавшему, хотя содержал в себе божественные отзвуки, за девавшие самые глубинные струны души. Можно сказать, это была сама чистота, на дне которой, подобно драгоценному камню, теплился неясный осадок. Он как бы проникал в самые закоулки души, смешиваясь, одновременно, с мягким весенним ветром. Ощущение было таким, как будто вглядываешься в глубину старинного озера и замечаешь в просветах рыбью чешую и подводную траву. Или как будто склонился над колодезем, глубиной в тысячу дзё, и сказал что-то туда, в его мерцание, а потом слушаешь возвращающееся эхо. Когда начинается игра на такой флейте, я каждый раз ощущаю, как что-то зовет мой дремлющий дух.

⁴ *Кун* — суффикс к именам и фамилиям при обращении к сверстникам или людям, значительно младшим по возрасту и социальному положению.

Тем более воздействие каменной флейты было особенно сильным для «основного божества» — Кавасаки-куна. Что касается времени, то Кимура-сэнсэй где-то больше часа безрезультатно играл на флейте; быть может, той ночью сэнсэй взялся за нее слишком рано? — но тут в чертах лица Кавасаки-куна произошли заметные изменения.

Часто, когда им овладевал дух, его щеки краснели, на казавшемся голубым лбу выступали бисеринки пота. Блеск этих капелек просматривался до верха белой груди под расстегнутым воротником.

Мое внимание отвлеклось на стук капель дождя, но тут я вдруг отметил, что верхняя часть тела Кавасаки-куна начала едва заметно раскачиваться справа налево, на изнуренном лице появилась блуждающая улыбка; внезапно он запел, отбивая такт обеими руками...

Недостойными устами обращаясь к августейшему,
Смирненно взываем к повелителю-императору;
Хотя волны четырех морей сейчас и успокоились,
Страна Ямато у восхода солнца...

Когда я услышал начало этой песни-речитатива, меня охватил ужас, и я непроизвольно переглянулся с сидевшим рядом господином N. Обычный голос Кавасаки-куна был слабым и хрипловатым, наводившим на мысль о легочной болезни, и я не удивился бы, если бы он изменился при вызывании духов, однако голос, читавший нараспев эти строфы, не принадлежал лишь одному человеку; похоже было, как если бы издали доносилось хоровое декламирование многих людей.

То были звуки песни, вырывавшейся из явно молодых и мужественных глоток, принципиально не имевших с Кавасаки-куном ничего общего. Таким образом, хор многих голосов выходил из одной гортани; я собственными ушами слышал совместное пение, как будто вырывающееся из входа в пещеру, и не мог усомниться в достоверности происходившего. Однако воспринималось это не как голоса суровых духов, но как

гаджеж, смех и крики распевających песни молодых людей; переглянувшись еще раз с господином N, я сразу понял, что и он думает то же: трудно было себе представить, что же это за духи.

Случайно взглянув на Кимура-сэнсэя, я заметил, что глаза у него спокойно прикрыты, и он не перестает дуть в каменную флейту. На лице его не появилось ни тени смутения. Тем временем хор голосов, пронизываемый флейтой, продолжал звучать, то усиливаясь, то опадая, подобно далекому шуму волн.

...Хотя волны четырех морей сейчаси успокоились,
Страна Ямато у восхода солнца
Явила в мире эру довольства и покоя⁵,
А при почтенном Нинтоку⁶ мир снизошел на все
земли,

Люди неспешно обменивались спокойными
улыбками.

Теперь же выгода и ущерб перепутались,
враги и «свои» перемешались. Заморские деньги
подгоняют людей.

Те, кто не желает больше сражаться, полюбили и
низость, и подлость.

Одни лишь скверные сражения окутаны в их
представлении мраком.

Муж и жена, близкие друзья не в состоянии
поверить друг другу.

Человеческий обман стал источником средств к
существованию.

Лицемерный семейный уют окутал мир.

Сила умаляется, мускулы презираются.

Молодым заткнули рты

Ленью, наркотиками и войной.

⁵ *Кофуку гэкидзё*, букв. «барабанить по животу и ударять по земле»; в древнем Китае во времена императора Яо один старик совершал эти действия и пел, прославляя добродетели императора и мир, нисшедший на страну благодаря им.

⁶ Шестнадцатый император Японии по традиционному счислению.

Кроме того, на путь малых намерений и отсутствия
стремлений

Собраны они, подобно овцам.

Даже удовольствия утратили свою суть.

Дух полностью сгнил.

Старики низменно стремятся к самоутверждению
и сохранению.

Множась под небом, прикрываясь именем
добродетели.

Правда и истина спрятаны и сокрыты, настоящие
чувства больны.

Ноги идущих по пути людей не испытывают
желания прыгать.

Вообще все пронизывает слабоумный смех.

На лбах бредущих людей проступает надпись о
смерти их духа.

Радость и грусть исчезают мгновенно.

Чистотой торгуют, искренность чахнет.

Если думать лишь о деньгах, деньгах,

то Человеческая стоимость станет презреннее
денег.

Люди, выступающие против мира, образуют школу
противящихся,

Владеют тихим пристанищем свежего ума;

Люди, преуспевающие в мире, в
самоудовлетворенности

Сонно дышат в ноздри.

Вторично чахнувшая красота разносится по всему
миру.

Истиной называют лишь низкую истину.

Развелось столько повозок, дурная скорость рвет в
клучья дух;

Возводят высокие постройки, но рушат высокую
честь.

Из бесчисленных окон светит и сияет желание и
неудовлетворенность.

Солнце, восходящее утро за утром, окутано смогом.

Чувства притупляются, острые углы стираются.

Сильные, мужественные духом торгуют землей.

Бурлящая кровь замутилась и вся собралась в отстойнике мира.

Хлынувшая чистая кровь полностью истощилась.

Парившие в небе сломали крылья.

Над неувядающим бессмертием насмежаются белые муравьи.

И в такой день Император соизволил стать человеком.

По мере приближения к концу, хлопки ладонями становились все энергичнее, голос — пронзительнее, звуки каменной флейты — все выше, в словах все отчетливее проступала злость и негодование. Но со словами «...соизволил стать человеком» песня вдруг резко прекратилась, как будто на *кото* порвалась струна.

Грудь Кавасаки-куна вздымалась от частого дыхания; какое-то время в полной тишине раздавалось лишь это дыхание да звуки каменной флейты. Похоже было, как если бы дыхательное горло Кавасаки-куна пыталось подражать звукам каменной флейты сэнсэя, однако это ему не удавалось, не по силам было обрести радость этого звука, и он как будто начинал задыхаться.

Вскоре звуки каменной флейты стихли. Кимура-сэнсэй отнял губы от отверстия и неспешно вытер инструмент белым полотном.

2

Какое-то время присутствия духов не ощущалось, как будто они давали людям время прийти в себя, и я, обменявшись взглядом с господином N и собравшись с мужеством, спросил сэнсэя: что это были за духи? Они довольно точно обрисовали нынешнее положение в мире, — можно ли предположить, что это, так сказать, «духи последних лет»?

Кимура-сэнсэй не спешил с ответом.

«Нет, не думаю, что это именно так», — наконец вымолвил он.

По словам сэнсэя, трудно было точно сказать, что это за духи, однако их было много, они были, похоже, молодыми и, несомненно — высокого уровня; как сказано в труде его покойного отца «Тайные записки о передаче духов»:

- 1) следует осведомляться об их прошлом, настоящем и будущем;
- 2) необходимо непременно различать истинных и ложных духов;
- 3) должно знать высшую, среднюю и низшую ступени духов;
- 4) должно знать о заслугах духа;
- 5) должно знать духов грубых, мягких, удачливых и со странностями;
- 6) должно знать духов, одержимых общественными и личными делами.

Есть также много прочих разновидностей, однако, но его личному разумению, этой ночью, безусловно, явились настоящие духи, относящиеся к высокому уровню, с заслугами, грубоватые, но одержимые общественными делами. Уже утром, когда прошла та ночь, я понял, насколько предположение сэнсэя попало в точку, а тогда я просто еще раз с уважением признал его широкую осведомленность; действительно, очень многое указывало на то, что они были одержимы общественными делами, как и было сказано в «Записках».

Кимура-сэнсэй заговорил вновь: «Хотя они и высказываются о нынешних временах, это — не обязательно „новые духи“. То, что они осуждают наш развращенный век, — совершенно очевидно. Что мне кажется удивительным, так это что за всем многоголосьем постоянно ощущается запах морской воды; кажется, что смотришь на широкую морскую гладь, в которой отражается лунный свет. Что это за духи? Откуда они собрались? Об этом я и хотел бы осведомиться».

Тут я весь обратился во внимание и стал слушать чистые и прозрачные звуки каменной флейты, которую вновь взял в руки сэнсэй.

Кавасаки-кун, подобно белой собаке, заслышавшей голос хозяина, поднял до того опущенную голову, выражение его лица изменилось, это не был более Кавасаки-кун с мягкими и слабыми чертами, — я почувствовал, что вместо него возник некто с выражением жестким и решительным. На лбу проступили морщины, глаза засверкали, даже мягкие до того губы вытянулись в струнку, и перед нами предстал облик молодого воина, готового к сражению.

Кимура-сэнсэй отнял каменную флейту от губ.

«Что вы за духи, ответьте», — сказал он, четкоговаривая слова.

В ответ из уст Кавасаки-куна зазвучал густой мужественный голос, ясно произнесший: «Мы — духи преданных».

Нас охватила дрожь.

Однако Кимура-сэнсэй, нимало не смутившись, продолжал спрашивать тем же бесстрастным тоном: «Кто предал вас?»

«Мы не смеем сказать об этом сейчас. Выслушав наше повествование, вы сможете решить сами».

«Где вы, духи, сейчас собрались?»

«Названия места сказать не могу. Скажу лишь, что здесь над морем светит луна. Сегодня вечером над морем собрались многие, намерения которых едины».

Весенняя буря, стучащая сейчас в дверь и по крыше вашего дома, — наше дыхание — пробуждает вас ото сна и мчится дальше.

Однако это место над морем — далеко от суши; кругом разлито лунное сияние; прилив, связавший черную зыбь, утишил волнение, так что верхушек волн не стало видно, они согнулись, как низкорослый бамбук.

Здесь — место, где мы можем спокойно вздохнуть. Однако сердца разрываются от возмущения, негодования и беспрестанной скорби. Причина в том, что мы — духи преданных».

«Почему вас предали?»

«Вы поймете, по мере выслушивания нашей истории. А вон со стороны моря приближается еще один наш товарищ, подобно парусу, наполненному морским ветром.

Это стоит увидеть. Парус цвета хаки, золотистые пуговицы блестят в лунном свете, на груди сверкают ордена. Военная форма разорвана на груди и залита кровью.

Не пуля попала в эту грудь. Она разорвана невыносимым возмущением; из нее и сейчас сочится кровь...

Тут я осознал, что в вызывании духов этой ночью наступил непростой момент.

Спокойное выражение на лице Кимура-сэнсэя осталось неизменным, однако на лбу у него выступил пот, и он несколько отступил перед огненным напором негодования духов.

Но раз уж вызвали духов, сколь бы яростными они ни были, обращаться к ним с вопросами по собственному усмотрению может означать заложение основ несчастий в далеком будущем, — об этом однозначно предостерегали «Тайные записки...» его покойного отца. Я понял, что сэнсэй заранее решил на это, призывая мятежных духов.

Лицо Кавасаки-куна постепенно краснело, слова вырывались одно за другим отрывисто и со злостью, похоже было, что он уже не может остановиться.

Сэнсэй спросил: «Пожалуйста, поведайте об ощущениях, с которыми духи веселятся над морем».

«Духи веселятся?»

В этом вопросе на вопрос слышалась насмешка, причем как над спрашивавшим, так и над самим собой.

«Избежав лживых гробниц на суше, мы собираемся лунной ночью над морской гладью и обсуждаем дела нынешнего и прошлого века; это стало для нас привычкой, как вино, только пьянеем мы от дуновений морского ветра.

Там, где собираются *ками*⁷, бывают не только наши товарищи. Временами сходятся тысячи, десятки тысяч, а порой и сотни тысяч духов воинов и поют шуточные песни о мерзостях нынешнего мира. Однако мы знаем, что эти песни не доходят до людских ушей.

Море, окружающее Японию, переполняет кровь. Основу морского течения составляет кровь бесчисленных молодых людей. Видали ли вы такое? Когда без пользы пролитая кровь окрашивает черные воды Куро-сио⁸ в красный цвет; алое течение ревет, стонет, скитаясь подобно тоскливо воющему зверю вокруг этой маленькой островной страны.

Смотреть на это — и есть развлечение духов. Наблюдать, не отводя глаз, со связанными руками — и есть развлечение для нас. Там, вдалеке, плавают в океане главные острова Японской земли, испускающие свет, не гаснущий ни днем ни ночью, и языки его пламени лижут ночной воздух. Там спят сто миллионов человек и мирно дышат во сне либо увлажняют тюфяки, пресытившись удовольствиями, о существовании которых мы и не подозревали.

Видите ли вы это?

Государственный строй, истинный лик которого мы пытались выявить, уже был попран; Япония без государственного строя болтается в наших сердцах, подобно бую на поверхности воды.

Видите ли вы это?

Теперь же проявим свой настоящий облик. Тридцать лет назад мы начали войну за правое дело, навлекли на себя бесчестье мятежом и были казнены. Вы не могли нас полностью забыть».

Здесь я впервые понял, что это — духи молодых офицеров, казненных некогда на месте экзекуций в Ёёги.

⁷ Боги, божества.

⁸ Теплое течение, омывающее восточную часть Японского архипелага.

Тем временем разгневанные духи продолжали свой рассказ.

3

«После смерти нам все стало ясно. Теперь, когда мы умерли, никакая сила не может остановить наши слова. Теперь мы имеем право сказать все, потому что пролили кровь чистосердечно.

Сейчас вновь вспоминаются слова, которые выкрикнул один капитан, направляясь к месту казни: „Умерев, пойдем как есть, в крови, к Его Величеству императору. Тогда мы полностью отдадим себя повелителю. Да здравствует Его Величество император! Да здравствует Великая Японская империя!“

И что, пошли мы, умерев, к Его Величеству императору? Именно об этом мы и пытаемся рассказать. Теперь, зная все, предлагаем вам повествование духов.

70

Однако, прежде всего, мы, вероятно, скажем о любви. О силе и чистоте этой любви.

„Я есть верховный командующий над вами, военными. Значит, я — лучшая вам опора, а вы должны почитать меня, взирая снизу вверх; такие близкие отношения должны быть особо глубокими. Обрету я или нет вознаграждение благодеяниями предков посредством дара небес зависит и от того, насколько хорошо вы, военные, будете исполнять свои обязанности“.

Там, в желтой пыли больших маневров, под плещущимся императорским стягом, фигура Его Величества верховного главнокомандующего на белом коне выглядела далекой и маленькой, и все мы были готовы умереть за божество, проявившееся в человеческом облике, и наши сердца горели.

Божество было далеким, маленьким, прекрасным и сияло чистым светом. Как звезда на кокарде нашей военной фуражки.

Ты проявляешь свой дух потомка императоров; ты предводительствуешь войсками, но нет врага, на ко-

торого их можно направить; твое сострадание к народу содержательнее, чем благотворный дождь.

Наши сердца горят от любви; робея и стесняясь взглянуть снизу вверх, молодые сияющие глаза преданных воинов одинаково представляют себе твою горную фигуру. Наш верховный предводитель, наша сострадательная мать. Наш доблестный и милосердный.

И в часы самых тяжелых учений мы ощущали, как нас пронизывает твой суверенный дух; там, где по полям плывут дозорные дымы, луч от сияния твоего сердца уже вонзился в нашу сражающуюся грудь. И вот мы увидели сон. Ах, насколько же велико было расстояние между той прекрасной, чистой и далекой звездой и нами! Какая разница была между нашей грязной формой и теми небесными благоуханными одеяниями! Доходили ли наши голоса? Посредством императорских рескриптов, яшмовый звук твоего голоса и днем и ночью отдавался во всем нашем теле; вопль нашей крови, крик „бандзай!“, исторгавшийся из нас в миг смерти, доходил ли он до твоих светлейших ушей? Будучи богом, ты обладал тысячью ушей, а тысячью очей мог все видеть и наверняка все слышал и видел. Однако тогда...

Мы видели сон. Дистанция между нами всегда заставляла видеть сны. В каком бы захолустье не довелось умирать — в Северном океане или на Южных морях — мы непременно принимали смерть у копыт коня Его Величества. Однако, если бы наступило „тогда“, приводившая в отчаяние дистанция разом сократилась бы, та далекая звезда немедленно возникла бы перед глазами, ее сияние ослепило бы взор, простерло бы ниц, заставило бы проглотить слова, лишило бы всяческого умения и переполнило бы наивысшим счастьем. Насколько же зрелой была наша любовь, — любовь людей, готовых к смерти! Если бы тогда немедленно прозвучал твой исполненный достоинства чистый голос, бросив нам лишь одно слово: „Умрите!“ — с

какой бы радостью мы приняли смерть, сколь преисполнены удовлетворения были бы наши сердца!

Не зная, наступит ли в нашей жизни этот миг, мы постоянно видели его во снах. В нас была юная стойкость, несравненное мужество, преданность и верность; сердца наши пылали, а дух был чист. В нас не было ни грана нечестности; в наших телах кипели молодая сила и кровь. Поэтому мы продолжали видеть сны о звезде — Его Величестве, чей образ навсегда запечатлелся в наших сердцах.

О ты, воплотивший в человеческом облике несравнимое мужество и неизмеримое сострадание! Если бы мы предстали перед тобой, равно жалеющим свой народ, эта огромная дистанция мгновенно исчезла бы, и мы стояли бы перед тобой, с чувством нераздельной близости, испытываемым детьми к отцу, и не было бы ни страха, ни напрасных опасений. Мы были молоды, неотесанны и лишены изысканности; Твое Величество не могло не воспринять, не могло не понять правильно ни нашей честной любви, в которой звучали крики крови и смерти, ни нашей безыскусной преданности.

И вот, наконец мы вступили в наш решающий сон. В этом сне в императорском дворце под легкими порывами ветерка нежно шелестели изящные занавеси тысячелетней давности, вышитые из тонкой ткани *судзуси*.

Во сне мы получили подтверждение, что дело не в безответной любви к Его Величеству. Если бы было так, если бы любовь подразумевала вознаграждение, тогда императорский указ оказался бы исполненным ажи, а воинский дух должен был бы погибнуть. Поскольку это было не так, сложился наш государственный строй с единством повелителя и подчиненных, а император стал богом.

Любим! Любим! Любим! Пусть до сумасшествия, но — любим! Сколь бы односторонней ни была эта любовь, в ней присутствовала честная чистота и страстность, и поэтому Его Величество непременно и с удовольствием ее принимал. Ведь он был таким глубоко

изысканным, таким сострадательным, таким добродетельным! Именно это и делало императора богом.

Мы верили в это. Поэтому между собой — духами — мы прекратили говорить о том, как эта любовь начиналась».

Когда разговор дошел до этого места, цвет лица Кавасаки-куна поблек, напряженность спала, сила ушла даже из бровей; нежная грусть, сквозившая в тонких бровях, поднялась выше невидящих, слабо двигавшихся глаз. Голос духов неожиданно прервался.

У нас не было слов. Немного спустя Кимура-сэнсэй, понимая наши чувства, заговорил.

«Этой ночью сложились чрезвычайные обстоятельства. Я опасаясь и за себя, и за Кавамура-куна — сможем ли мы выдержать тяжесть, налагаемую на нас духами? Тем не менее нам следует ответить воле духов, избравших нас, всеми силами, со всей искренностью. Думается, в отношении того, что сегодня ночью говорится устами „основного божества“, есть много боязни и страха, но вы, господа, не должны пренебрегать ничем, что слышите от духов; хотелось бы, чтобы вы обрели истинный смысл духовного очищения. За половину моей жизни такой вечер случается впервые; не знаю, случится ли вам, господа, присутствовать при таком еще раз. Пусть у меня и прерывается дыхание от рассказа духов сегодняшней ночью, но я ни в чем не раскаиваюсь. Думаю, что и Кавасаки-кун считает так же».

Хотя на меня и оказали воздействие исполненные энергии слова сэнсэя, я не мог не обратить внимания на нездоровое состояние, сквозившее в ничего не видящем взгляде Кавасаки-куна, да и сэнсэй, похоже, давал этим ему передышку, а потом, решив, видимо, что тот уже успокоился, снова взял каменную флейту и стал извлекать из нее тихие звуки.

Буря снаружи и не думала утихать; страдальческий шорох деревьев в саду за дверями, по которым стучал дождь, полет разрывающего все вокруг дождя, — этот звук дождя слышался непрерывно, как будто бил но

тебе наискось. Звуки флейты сначала как будто сдерживались им, однако понемногу священные трели разлились, подобно тонкому горному ручейку, и в какой-то момент вытеснили звуки дождя за дверь. Закрыв глаза, я слушал их и неожиданно для себя был унесен звуками флейты на широкое поле, хотя телом и оставался в комнате; у меня возникло такое ощущение, как будто на этом бескрайнем поле я участвовал в каком-то жертвоприношении.

...Затем я вновь услышал, как духи героев заговорили устами Кавасаки-куна.

4

«Тогда Его Величеству было 35 лет. Его окружали морщинистая рассудительность пожилых советников и их почтительное коварство. Поэтому он не соизволил заметить те потоки горячей крови, которые проливали молодые слуги, защищая „яшмовое тело“.

„Голову дракона“⁹ отдаляли от народного убожества, от народных страданий; императора окружали 10—20 слоев хитрых и лживых придворных — те, кто рядился в защитники его персоны, — те, решения которых постоянно менялись, трусы, ведущие — сами того не подозревая — к катастрофе, либо — хладнокровные и безжалостные интриганы и честолюбцы. А Его Величество не изволил замечать искренней преданности безымянных молодых людей, скрытых в заиндевевших стенах казарм.

Сердцами и кровью мы были связаны с государственным устройством, ожесточенной неподкупностью любви, не допускающей отсутствия взаимности. Поэтому в наших глазах Его Величество предстával чистой и печальной фигурой пленника, содержащегося в заключении волей уродливых чудовищ.

⁹ «Яшмовое (драгоценное) тело», «голова дракона» — эпитеты императора.

Уродливые чудовища изрыгали пламя, пожирали человеческую плоть, бродили, издавая злоеющее рычание, прикидывались, что охраняют высочайшее тело, а в действительности держали его за семью печатями. На их чешуе вырос золотистый мох; вокруг носилось отвратительное корыстолюбие; трава, по которой шаркали их ползучие ноги, совершенно высохла.

Мы горячо молились о том, чтобы эти уродливые чудовища поверглись в прах, мы хотели спасти Его Величество. Именно тогда можно было бы избавить народ от страданий и невзгод, а армия безо всяких задних мыслей стала бы храбро защищать страну.

Наконец мы подняли добровольцев. Представьте! В то снежное утро сила Реставрации, таившаяся в глубинах нашей истории, подготовила редкую беседу Великого Правителя с его народом-травой, Наместника Уровня Десяти Добродетелей с преданными и мужественными молодыми людьми.

Только представьте себе!

В то время плодородная страна, взращивавшая драгоценные колосья, покрылась невозделанными землями; народ лил слезы от голода; женщины и дети шли на продажу; императорская земля окуталась смертью. Боги были обмануты обманом богов; черпая чистейшую влагу из колодца нашей истории, мы лили ее себе на голову; обратившись плачущим на запущенных землях монахом Сомин¹⁰, мы скрытно начали разговор с богом, явившимся в человеческом облике. Именно тогда должна была проявиться страна богов, разогнать порывом ветра вьющихся, как майские мухи, родившихся из грязи, образовавшейся при обряде очищения Идзанаги божеств Магацухи; наш государственный строй — стать чистым, как кристалл; в страну прийти радость и счастье.

Подумайте!

¹⁰ Сомин (?—653) — один из разработчиков реформ Тайка, призванных перестроить систему управления и землепользования по китайскому образцу.

Тогда самое чистое, что было в нашей истории, уничтожило бы проникшее повсюду гниение и корумпированность, покончило бы с увяданием и обманом; лишь посредством чистоты намерений и горячей крови, молодости и ранней весны мы желали встретиться с глазу на глаз с Его Величеством. Лицо смерти, крик крови, столь долго пребывавшие погребенными в тех землях, тех полях, тех лесах, покуда повелитель изволил предаваться отдохновению, и теперь, временно воспользовавшись юными, дерзкими лицами, души которых переполняло бурлящее ожидание встречи с тобой. Самые безыскусные духи Японии в нынешней потусторонности с наиболее укоренившимися традиционными представлениями мчались к этому свету в свой последний путь, желая говорить с источником этого света.

Мы были их командирами.

И мы были также воинами бога, движения которых диктовал божественный обман.

Опишу одну из ярко высвечивающихся картин.

Там была одна возвышенность.

Чистое, снежное утро; окутанная снегом возвышенность сверкает серебром; с веток деревьев радостно стекают капли; исполненный силы низкорослый бамбук *садза* пробивает снег и выходит наружу; мы командуем солдатами, сжимая в руках окровавленные мечи, покаравшие коварных мятежников. С их лезвий на снег капает кровь; наши щеки горят; козырьки наших фуражек, умытые снегом, сияют черным лаком на солнце.

Солдаты спокойно, но с учащенным сердцебиением ожидали приближения мига, когда воссияет ореол их славы. Это было также и время, когда они смогут помочь своим страдающим родителям, братьям и сестрам в родных местах.

Мы взглянули в чистое небо.

Оно было голубым везде — куда ни кинь взор, отражаясь в белом снеге, сверкавшем на верхушках горной гряды; ни одно облачко его не заслоняло. Снег,

осыпавшийся с верхушек огромных деревьев, рассеивался во все стороны, вновь превращаясь в сияющие снежинки, легко опускавшиеся на наши военные фуражки.

И вот тогда-то с возвышенности начал неспешно спускаться одинокий всадник на белом коне. То был не человек, но — бог. То был великий и сострадательный, наш предводитель, Его Величество верховный главнокомандующий.

Мы скомандовали солдатам: „Смирно!“ Этот приказ как нельзя к месту прозвучал в тот славный снежный день под безоблачным небом.

Его Величество остановил коня; тень восседавшего в седле императора милостиво приблизилась к нашим сапогам, промокшим от снега. Расправив плечи под мундирами, мы отсалютовали ему своими мечами. Перед глазами мы видели сияющий серебром металл лезвий, на которых еще оставались следы крови.

„Почтительно докладываем. Мы вырезали скверну, и наступило спокойствие. Ждем приказаний Вашего Величества. Просим Вас ввести свое личное правление и спасти народ“.

„Хорошо. Благодарю за труды. Я беспокоился о вас. С сегодняшнего дня я лично становлюсь у кормила правления, дабы вернуть в страну мир и спокойствие“.

Драгоценный голос еще продолжал звенеть в чистом безоблачном небе, а Его Величество продолжил.

„Вас следует повысить в звании; вы займете ответственные должности в армии. До сегодняшнего дня я ничего не знал. Императорской армии необходимы преданные воины. Начиная с этого момента вы должны выкорчевать закоренелое зло и твердой рукой обновить армию императора“.

„О нет. Ваше Величество, оставьте все как есть. Если вы хоть на один ранг повысите наши звания, это запачкает тот дух обновления, ради которого мы готовы рисковать своими жизнями. Уже то, что вы берете правление в свои руки, то, что вы оглянулись на нас, солдат, переполняет нас ни с чем не сравнимой радо-

стью. Именно после такого момента мы можем ободрять своих солдат, пробуждать в них воинскую сущность и отбросить прочь свои жизни ради защиты империи“.

„Вот как? Тогда вы — истинные воины императорской армии“.

Его Величество, чрезвычайно удовлетворенный, спустился по снежному склону, эскортируемый совершенно преданными ему воинами. Мы, следовавшие по следам его белого коня, были солдатами божества.

Представьте себе!

А вот еще одна картина.

В ней отсутствует сияние, однако она не уступает первой картине и переполняема счастьем, честью и славой. Собственно, глубины наших душ яснее отражала именно эта вторая картина.

Тот же холм. Однако небо хмурое; снег перестал, но пепельные облака просели низко, до земли. Примчался всадник на белом коне, как если бы часть снега внешне превратилась в белые крылья.

Белый конь тряс головой, из его ноздрей вырывался пар от дыхания; разбрасывая снег, он взобрался на холм и резко замер перед нами.

Мы отдали приветствие, салютуя поднятыми мечами.

Взирая на „голову дракона“, поклоняясь необыкновенной, высочайшей решимости, заполнявшей собой все, мы знали, что рвущееся пламя нашей устремленности наконец-то достигло августейшего сердца.

„Ваши намерения правильно поняты.

Ваша преданность доставляет радость.

С сегодняшнего дня народ будет умиротворен под моим непосредственным управлением, и в этом непременно будет жить чистота ваших сердец.

Умрите со спокойным сердцем; они должны немедленно перестать биться“.

Ни мгновение не колеблясь, мы расстегнули военные куртки и с криками „Да здравствует Его Величе-

ство император!“, от которых, казалось, рвется затянутое облаками небо, глубоко вонзили уже окровавленные мечи себе в животы. Таким образом, кровь подвергшихся нашему избиению продажных чиновников, смешавшись с нашей кровью чистой искренности, стала кровью верноподданных Его Величества, очистившись перед конем повелителя.

Мы не испытывали ни боли, ни страданий. То была радостная, счастливая смерть. Двигая клинки, крепко обхваченные нашей плотью, мы слышали за спиной рыдания своих солдат. То был плач воинов, с которыми мы вместе ели и спали, которые покаялись нам в своей преданности, которые отдали в наши руки решение о своей жизни и смерти в бою, которых мы любили.

И тут наступил высший миг счастья. Его Величество верховный главнокомандующий сошел с коня и стал на снег, окрашенный нашей молодой кровью. У высочайших стоп распростерлись мы — умирающие. Подняв руку, Его Величество отдал нам честь, проводив в смерть.

Сквозь уплывающее сознание мы выровняли затылки и поклонились „голове дракона“. И вот низко нависшие облака разорвались, и единый луч света невообразимым образом осветил Повелителя. Находясь на грани смерти, мы увидели чудо.

Вспомните!

Слезу на щеках „головы дракона“, оплакивающего нашу смерть!

Несколько слезинок, освещенных лучом, пробившимся сквозь облака!

Высочайшие слезы августейшего сочувствия, проявленного божеством к нашей искренности!

Наша смерть явилась в облике истинного счастья...»

Я отчетливо видел, как лицо Кавасаки-куна, прекратившего говорить, внезапно побледнело от гнева, а со щек сошел покрывавший их румянец.

В его голосе больше не было восторга; как если бы он смешался со звуками бури за дверью, в нем проявился бесконечный мрак тревожного волнения и полной заброшенности, на дне которого текла невыразимо печальная мелодия, разрывавшая сердца слушателей.

«Это был лишь сон, лишь картина, лишь иллюзия!

Если бы Повелитель был богом, он непременно избрал бы какую-то из двух картин. Чувство любви такой степени не могло не достичь ушей божества.

Опять же, если бы Повелитель был богом, высшее мгновение беседы божества с людьми не могло бы не реализоваться так, как это замыслили небожители.

Он никогда бы не уклонился у всех на глазах от последнего шанса спасти страну.

В то время Его Величество бродил по дворцу, выслушивая секретные доклады и как будто стесняясь своей свиты. Беспокойство в народе подобно болезнетворным микробам и разносится человеческими руками; как только ситуация во дворце изменится к лучшему, там тоже все уляжется. Его Величество лишь соизволил сказать: „И Япония стала как Россия“.

Сколь были возмущены, как негодовали наши товарищи в тюрьме, до которых донеслись эти слова! Какие кровавые слезы они проливали!

В тот день 26 февраля Его Величество по случаю аудиенции, предоставленной представителям командования сухопутных войск, изрек: „Нынешний случай не отвечает состоянию истинного духа, выражает неверность сути, совершенно определенно наносит вред духовному процветанию государственного устройства“.

А 27-го числа Его Величество изрек следующее: „Должны ли мы пощадить молодых офицеров, убивших преданных помощников трона? Мы вызвали начальника полиции, который получил наш приказ — немедленно упорядочить положение. Если этого окажется недостаточно, мы задействуем дивизию Коноэ и подавим мятеж“.

В тот же день, в ответ на нашу просьбу отдать нам свой личный приказ совершить самоубийство, он сказал: „Хотят убить себя — пусть убивают! Никаких приказов на этот счет мы отдавать не будем!“

Ненависть к нам Его Величества не имела границ. Льстивые придворные мгновенно изобрели способ припереть нас к стенке, умело подогревая эту ненависть.

Вышедший 28-го числа императорский указ бы перехвачен и не дошел до наших глаз, однако невыполнение его (в чем не было ни капли нашей вины) немедленно сделало нас изменниками императорского дела.

Ненависть Его Величества не имела границ.

Наши враги в армии немедленно созвали мрачный суд, который не собирался выслушивать наши объяснения, но мгновенно вынес приговор с высшей мерой наказания.

И вот, мы были крестообразно связаны друг с другом; пули, пробивавшие наши головы и сердца, пачкались унижением [от названия] „восставшие“.

В тот миг погибла предводительствуемая Его Величеством верховным главнокомандующим императорская армия, разрушился великий смысл нашей империи. В день, когда искренние и преданные воины превратились в „мятежников“, военщина, увлекшаяся развязным¹¹ нацизмом, устранила все преграды с пути к началу войны.

Мы и в мыслях не имеем упрекать Его Величество за то, что он нас так ненавидел.

Однако назвать нас изменниками?! Говорить о мятеже?! Неужели в августейшем сердце не нашлось ни капли сострадания к людям, вставшим на путь исправления государственного устройства, которых называли мятежными войсками и предали смерти?

¹¹ Букв, «ханьским сердцем» (*карагокоро*), т. е. иноземным, несдержанным, в противоположность «японскому сердцу» (*яматогикоро*) — выдержанному, уравновешенному.

Не сердце божества,
 Но сердце человек возненавидело „мятеж“.
 Все мудрецы, прислуживающие у императорского
 экипажа,

Взывания к богу криком, исполненным крови
 Глупцов, склонившихся у дорожной обочины,
 Никогда не достигнут небесного слуха;
 Его Величество, как человек, оставил
 Молодых офицеров с их глупой преданностью
 В мрачной и неизбывной нужде.
 Из наших древних сказаний [мы знаем,
 Как] Сусаноо-но микото не внял
 Призыву крови от духа великой земли,
 Но забросил сырую лошадиную шкуру в
 священные пределы,

Рассердил богов и был изгнан.

От подобной чистоты божественной яростности

Его Величество в качестве человека отвернул свой

лик.

Зачем Повелитель стал человеком?»

По мере того как звучала песня, к первому голосу присоединился один, затем еще один, затем — еще, и наконец они слились в одно многоголосье, как и в самом начале церемонии вызывания духов. И, как это бывает с волнами прилива, в хоре голоса участников сливались так, что невозможно было выделить кого-то одного.

Где-то с середины песни Кавасаки-кун начал хлопать в ладоши. Это не было аккомпанементом, которым сопровождаются быстрые шуточные песни, но — трудноопределимым мрачным хлопаньем, возникавшим между его тонких ладоней; по мере того как песня близилась к завершению, хлопки становились все тяжелее, в них проступала усталость, и наконец они умолкли, когда окончилась песня.

В тот же миг я испуганно вздрогнул от дикого крика, внезапно вырвавшегося изо рта Кавасаки-куна.

Такой звук мог издать лишь бесплотный дух, — столь безумное страдание в нем проступало. До этого он сидел, подогнув под себя ноги, но теперь впервые за весь вечер пошевелился, упал лицом на татами и затрясся всем телом от рыданий.

До сегодняшнего дня я ни разу не слышал голоса, в котором заключалось бы столько боли и скорби. Белые одежды уткнувшегося в татами Кавасаки-куна образовали на спине сложные складки, как бы иллюстрируя его телесные муки; он терся о татами то правой, то левой щекой, издавая вопли и рыдания, и вскоре поверхность циновки вся покрылась его слезами.

Кимура-сэнсэй сложил вместе ладони и пристально смотрел на мучения этого молодого слепого медиума, которые, казалось, могут сдвинуть горы.

Вероятно, это продолжалось довольно долго.

Звуки рыданий сливались с шумом непогоды, бродившей за дверями дома. Плач и слезы в сущности были схожи со звуками дождя и ветра; рыдания духов, смешивавшиеся с резкими порывами, казалось, доходят до наших ушей без посредства голоса Кавасаки-куна, а прямо из места своего зарождения — из Южных морей.

5

Рыдающий голос Кавасаки-куна понемногу утих; я вдруг ощутил, как из моего тела ушла вся сила, и подумал, что встреча с духами этой ночью окончена, а их глубокое и острое чувство должно быть сохранено в памяти и передано последующим поколениям.

Кимура-сэнсэй, похоже, думал так же, поскольку сказал: «Воистину, эта ночь запечатлется в нашей памяти. Мы вновь и вновь будем благодарить божественных духов за то, что они избрали нас для изложения столь важных и серьезных предметов. Теперь же, поскольку, как мне кажется, они удалились, займемся угощением, за которым обсудим ощущения от сего-

дняшней ночи». И он поднялся первым, чтобы проводить гостей.

Сэнсэй был здоровым и крепким человеком, выглядевшим лет на десять моложе своего возраста, однако, когда он вставал, всем показалось, что у него внезапно случилось головокружение; он схватился за столб, прижался к нему щекой, как бы пережидая, когда головокружение пройдет.

В принципе, совершенно естественно, что, когда присутствующие быстро поднимаются, им приходится удерживать равновесие, но я был не единственный, кто заметил такую телесную скованность лишь у одного человека.

С того момента прошло не более десяти секунд; подумав, что состояние не проходит, я был готов уже обратиться к сидевшему рядом г-ну N, чтобы тот поддерживал сэнсэя, однако тот уже вернулся на свое место и сидел там в прежней позе. Затем он сказал, что случилось нечто чудесное, и стало не до угощения.

Сэнсэй рассказал следующее.

«Сейчас, когда я поднялся, мне вдруг показалось, что я ощущаю сильный аромат прилива, а затем перестал что-либо понимать.

Придя в себя, я обнаружил, что нахожусь на поверхности моря, освещенной лунным светом, и меня несет что-то вроде драконьих колец.

Некий шум на морской поверхности не походил на звуки плывущего корабля; также, это не были и люди, собравшиеся, чтобы спасти судно, терпящее бедствие. Совершенно очевидно, этот шум производили существа, людьми не являющиеся.

Я заметил группу пехотных офицеров, чья униформа на груди была перемазана кровью. К ним меня и понесло по морской глади. Я двигался легко и свободно, как если бы шагал по темно-синему длинношерстому коврику.

Остановившись перед ними, я отвесил поклон и осведомился: „С кем из достопочтенных духов мы имели честь общаться недавно?“

Все они были импозантными молодыми духами, их лица сливались в одно; наконец у кого-то в лунном свете проступило подобие улыбки, и он рассмеялся.

„Не задавай таких вопросов. Любой из нас подойдет. Наша воля едина“.

Такой ответ мне показался несколько недостаточным, однако тут другой дух указал пальцем на небо и громко сказал: „А вот и наши младшие духи пожаловали“. Я взглянул на небо, потом — по сторонам, но на бескрайних водных просторах в лунном свете не было ничего похожего на его описание.

„А что за существа — ваши младшие духи?“ — спросил я тогда.

„Это духи, которых предали после нас. Духи, преданные во вторую очередь“, — прозвучал от кого-то печальный ответ.

Я взгляделся, и, действительно, на расстоянии одного-двух *дзё*¹² от нас смутно просматривалась группа духов, наполовину растворившаяся в лунном свете. На них на всех была летная форма, сбоку — японские мечи, а повязанные белые шарфы испачканы на груди кровью.

Я почувствовал, что один из них оборачивается к нам, но тут внезапно открыл глаза».

— Сколько же времени прошло, покуда я не сел на свое место?

Я сказал, что, кажется, около десяти секунд; Кимура-сэнсэй был очень удивлен, услышав это.

«Похоже, этой ночью духи никак не желают нас покидать. Для меня это — долг, поэтому я продолжу, покуда в груди осталось дыхание, однако для вас, господа, такой случай выпадает лишь раз в тысячу лет, поэтому советую вам оставить мысли о возвращении домой», — сказал он, на что все присутствующие стали говорить, что не имеют ни малейших возражений. Глаза у всех сияли, все устраивались поудобнее, ожидая следующего проявления духов.

¹² 3—5 м.

В это время Кавасаки-кун уже прекратил рыдать; оставаясь лежать на татами, он вдруг заснул, издавая негромкий храп. Один из присутствовавших предложил принести ему ночное стеганое кимоно, чтобы он не простудился, однако тот резко приказал оставить его так, как он лежит.

Сэнсэй необычно суровым взглядом посмотрел на спавшего, затем взял каменную флейту и снова заиграл на ней.

Флейта безрезультатно издавала звуки где-то на протяжении пяти минут, а Кавасаки-кун не просыпался. Я хорошо знал, сколь истощил он свои силы, как много усилий приложил, и поэтому не мог ему не сочувствовать; ведь входившие в него духи не делали снисхождения и подобно каменным скалам наваливались на его хрупкое тело.

Наконец Кавасаки-кун будто бы проснулся, потянулся всем телом и попросил стакан воды. Один из присутствовавших, получив молчаливый кивок от Кимура-сэнсэя, принес ему полный стакан. Все это время сэнсэй продолжал извлекать из флейты звуки.

Принесенная на глазах у всех вода полностью отстоялась и выглядела таинственно. Казалось, Кавасаки-кун выпил ее одним глотком, однако в стакане осталось две трети содержимого.

Он попробовал допить ее вторым глотком, но вода попала в трахею, и он зашелся сильным кашлем, забрызгав рукав своей белой одежды.

Кто-то хотел помочь ему вытереться, но Кимура-сэнсэй резким жестом заставил всех оставаться на месте; лицо Кавасаки-куна, до того момента как бы пребывавшего во сне, явно отличалось от тех духов, что говорили через него ранее, однако стало таким же импозантным, угловатым и мужественным.

6

«Вы — те, кого я встретил на поверхности океана?» — спросил сэнсэй, оставив флейту.

«Да. Когда стало ясно, что мы терпим поражение в войне, то в последнем порыве божественного ветра, *симпу*¹³, мы преподнесли свои жизни стране императоров», — был звучный ответ.

Я вспомнил о духах с повязанными запачканными кровью шарфами и в летной форме и понял, что теперь перед нами предстали духи воинов-героев особых ударных отрядов.

«Отчего вы считаете себя преданными?» — бесстрашно спросил сэнсэй.

«Лучше будет, если вы рассудите сами, выслушав нашу историю.

Мы обнаружили перемещавшийся отряд противника в одной из бухт Филиппинского архипелага, и сборная эскадрилья, которой я командовал, в полном составе — пять летающих бомб и четыре самолета прикрытия — врезалась в него, в результате чего были потоплены один авианосец и один крейсер.

У каждого из нас был свой курс, проложенный на карте. Ради этого утра смерти, ради солнца славной смерти в бою перед скакуном Его Величества, мы полгода проходили усиленную специальную тренировку. И все это время смерть стояла у нас перед глазами.

Мы жили в совсем иное время, чем божества — наши старшие братья. Признаки поражения Японии просматривались вполне конкретно; гибель страны наших предков была уже неизбежна. Гигантский солнечный шар медленно опускался в пучину; невидимое глазу наипрекраснейшее, наилучшее божество, великое строение духа, в котором собрались души всего народа, — этот кипарис терял свое благоухание, стены рушились, но он пытался вернуться на землю, подававшуюся у него под ногами.

Это был громадный и чистый дворец, унаследованный нами от предков; лицо, проживавшее там, не могло быть однозначно отнесено ни к людям, ни к

¹³ «Божественный ветер», в просторечье — *тигмикадзэ*; именно это слово прижилось в западном лексиконе.

богам; набравшийся мужества и вошедший туда человек мог сразу же попасть к божеству, — такое это было место.

Разумеется, собственными глазами мы того дворца не видели. Тем более — не ощущали, что эти тела проживают там. Однако мы верили, что где-то в Японии он существует. Именно это наши старшие братья-божества называют „государственным устройством“, и за это они пролили свою кровь.

Мы желали взлететь с последним *силту*. Кто назвал его так — „*силту*“! Когда течение человеческой жизни оканчивается крушением, все желания прекращаются, признаки разрушения — как ласточки под крышей, порхают, скользя мимо человеческих лиц, когда следящие за приближением окончательной гибели глаза расширяются, вбирая в себя ясное голубое небо... и вдруг! — да, поднявшийся ветер помощи, такой нерациональный, что трудно представить, откровенно презирающий все человеческое: мысли и чувства. Понимаете? Именно это и есть *силту*.

Наше важничание от того, что мы уничтожим врагов, наша мужественная решимость, были, вероятно, дальше всего от превращения *силту* в „божественный ветер“.

Нам ничего не оставалось, кроме как жить одновременно в двух состояниях: отчаяния и страсти. Дело в том, что ударные отряды специального назначения являлись тактикой, порожденной отчаянием; более того, в тренировках и стремлении к смерти не было возможности утаить это отчаяние.

На протяжении полугода мы тренировались, чтобы максимально искусно, эффективно и тщательно умереть. Смерть всегда была перед нашими глазами, и люди называли нас живыми богами.

В том, как с нами встречались люди, содержалось некое особое почтение и стыдливость.

У старших офицеров, когда они общались с нами, на губах начинала играть стыдливая улыбка. То был стыд людей, которым трудно оставаться в живых.

Ложью, однако, было бы сказать, что мы прожили те месяцы и дни не в ореоле славы.

Однажды командир 201-го авиасоединения собрал всех и сказал следующее.

„Доложив о действиях отрядов спецназначения *симпу*, командующий объединенными силами удостоился нижеследующих высочайших слов“.

Все щелкнули каблуками и замерли. Командир развернул присланную телеграмму и зачитал: „Его Величество, услышав о яростной борьбе особых ударных отрядов *симпу*, изрек: «Стоило ли доходить до такого? Хотя, они хорошо постарались».“

Затем командир торжественно продолжил: „Покорнейше выслушав высочайшие слова, [я понял, что] мы беспокоим Его Величество; мы должны ободрить и успокоить августейшее сердце“.

В отличие от старших братьев-духов, в нас не было пламенно-страстной любви к смерти. Мы были уже порождением отчаяния; наша смерть была определено спланирована, и именно эта смерть была не чем иным, как „смертью в бою перед скакуном Повелителя“; сколь велики ни были переживания Его Величества, он с грустью, но одобрил нашу смерть. Все было решено. В нас не было жажды любви.

Наша страсть походила на холодное спокойствие техников; она расходовалась на тонкие расчеты с целью добиться максимальной эффективности наших смертей. Мы взвешивали свои смерти на весах, стараясь устранить возможность возникновения любой случайности, стремились заранее выяснить их стоимость до последней монетки. Ах, иногда жизнь выдавала себя за случайность, летала, подобно одинокой мухе, и чинила препятствия нашим расчетам. Мы полностью устраняли жизнь, могущую случайно возникнуть в будущем, потому что даже самая ничтожная возможность жизни могла оказать разрушительное воздействие на действенность нашей смерти.

Подобно старшим братьям-божествам, мы также иногда думали о далеком, маленьком, светлом божестве.

Однако негласное соглашение с этим богом было очевидно, и мы и не мечтали о том, чтобы поскорее сократить расстояние между нами. В любом случае, у нас не было для этого свободного времени. Быть может, в приближавшейся с каждым мгновением смерти, когда мы в последнем ускорении врежемся туда, куда метим, — в сердце вражеского корабля, в самый миг столь желанной и ожидаемой смерти мы увидим поверх личины гибели облик того далекого, маленького, светлого бога. В то же мгновение расстояние между нами исчезнет; мы, тот бог и смерть станем единым телом. Делая такие хладнокровные расчеты, мы прибавляли это к последней мужественной храбрости и без малейшего усилия обретали единение с Его Величеством императором.

Мы никогда не верили в тайны. Ведь, став *симпу*, мы сами стали тайной. Чему же мы могли молиться в качестве людей, во что верить? Ведь воплощением этого была наша смерть.

Однако раз мы были тайной, раз мы стали живыми богами, то Его Величество никак не мог не быть богом. В качестве бога, неизмеримо высоко стоящего в ранжире божеств, Его Величество не мог не изливать своего сияния [на своих подданных]. Именно здесь лежала основа нашего бессмертия, исток нашей славной смерти; здесь проходила та единственная нить, связывавшая нас с историей. Его же Величество ни в коем разе не препятствовал нашей смерти, не стремился спасти нас от нее посредством слез или других человеческих эмоций. Потому что только бог был способен реализовать истинную драму столь нерациональной смерти молодых людей посредством их грандиозного убийства. Если бы это было не так, наша смерть превратилась бы всего лишь в глупую жертву, а мы были бы не воинами, но лишь участниками какого-то состязания и погибли бы не смертью богов, но смертью рабов...

Во время тренировок мы читали „Хагакурэ“, откуда в особенности запомнили следующие отрывки.

„В целом, при отсутствии крайнего высокомерия практикование не даст результата. Если я буду думать, что не смогу в одиночку победить целое семейство, практикование теряет смысл“.

„То, что именуется воинской доблестью, есть видение себя первым в Японии и крайнее высокомерие“.

„Бусидо — это одержимость смертью. Убить одного — все равно что несколько десятков человек, как наказывал Наосигэ Тадаси. По большому счету, в этом нет ничего значительного. Сходя с ума, становишься одержим смертью. И еще, если в Бусидо принимаешься различать, то начинаешь опаздывать. Не влезай ни в преданность, ни в сыновний долг, а просто станешь одержимым на Пути Воина. На нем полным полно и преданности, и сыновнего долга“.

„Срединный Путь — предельная точка всех вещей, однако военное дело преобразует сердце, так что даже в средней жизни человек превосходит самого себя“.

Мы были в высшей степени высокомерны, одержимы смертью и отстранились от Срединного Пути.

И вот настал момент вылета.

А ведь сегодня можно неплохо умереть, а?

Не найти вражеских кораблей и впустую вернуться, чтобы затем вновь пережить театральное представление, — это было невыносимо. Мы только и делали, что молили о смерти, как о величайшем счастье.

Авиагруппа, оставив за собой горы и джунгли, повернула на восток. Рядом с полосой прибоя стоял лес кокосовых пальм, который мы вряд ли еще раз увидим. Белый песок, проглядывавший сквозь бледную зелень мелководья, переходил в бледную красноту атоллов, а окружавшее их фиолетовое море изменялось в желтое, зеленое и, наконец, глубокую синеву. Это прекрасное пятицветное море всегда было утешением для глаз тех, кто сидел в самолетах. Смотрите хорошенько. Пусть цвета этого моря, похожие на пылающие на закате облака, останутся в ваших сердцах.

Чтобы уйти от истребителей ПВО противника, звено поднялось на несколько тысяч метров. Из кисло-

родных масок пошла смесь, холодившая полость рта. Это было нашей последней чистой пищей.

Наконец на расстилавшейся перед нами поверхности моря стали ясно заметны черные точки, и это переполнило счастьем наши сердца. Наша смерть в нескольких точках, проявившихся на синей поверхности тропического моря. Черные точки, то скрывавшиеся, то появлявшиеся в просветах быстро бегущих облаков, казалось, лстыиво подмигивают нам.

Командир взял курс прямо на них. Черные точки приняли ясные очертания боевой группы противника, окружавшей авианосец и двигавшейся вперед в окаймлении белых волн. Отсюда сверху их движение казалось медлительным, почти вялым.

Включились двигатели. Звук был оглушающим. Скорость достигла максимальной.

Отряд прикрытия был готов к появлению вражеских истребителей и расположился в охранительном порядке.

Они действительно появились немедленно, как стая крылатых насекомых.

У нас была одна цель — подъемник вражеского авианосца.

Выдергиваем предохранитель взрывателя бомбы, посылаем сигнал о начале атаки. Теперь дорога одна.

Наклонить нос самолета, приблизиться к цели и врезаться в нее. Не промахнуться.

Храбрость же заключается в том, чтобы

смотреть!

смотреть!

смотреть!

ни на мгновение не отводя глаз.

Авианосец весь опоясался вспышками залпов от заградительного огня; плоскость его верхней палубы, непосредственно перед этим выглядевшая совершенно спокойной, как тренажер в школе после окончания занятий, вдруг затуманилась и стала едва видной. Однако она никак не могла уменьшиться. Мгновение за мгновением, вначале — размером с бисквит, затем — с

тарелку, затем — с поднос, затем стала кухонной доской... это было как в игре: она ширилась и ширилась... превратившись в теннисный корт, в тренажер по окончании занятий, затем окуталась пороховым дымом.

В этом дыму желтым пионом распустился цветок орудийного выстрела. Дым редел. Авианосец предстал совершенно отчетливо, — это был уже только авианосец, и ничто иное.

Смотреть!

Только смотреть, сверкая глазами!

Подъемник авианосца! Скоро мы будем там. В полной круговерти, слившись воедино с самолетом, глухой ко всему, не чувствуя боли, окруженный белым сиянием, забывший про игры, прочерчивая своим движением серебряную нить, напрягаясь изо всех сил, чтобы только отчетливо видеть, видеть, видеть и разрушить!

Как же далек подъемник авианосца! А это ускорение, которое должно было его немедленно туда доставить, — сколь же оно медлительно!

Время последнего момента нашей жизни падает тяжелыми корпускулами золотого песка.

Пуля пробила грудь; кровь стала перехлестывать назад через плечо. Чувствовался только удар, но не боль. Однако именно это ощущение удара стало основанием сознания, подтверждающего, что видимое впереди — не призрак.

На подъемнике стали видны человеческие фигурки.

Это был враг. Враг бежал. Не было видно образа смерти, которая должна была ожидать нас с расprostертыми объятьями.

Реальностью был только подъемник. Он существовал. Его было видно.

...Наконец, момент попадания так и не отразился в нашем сознании».

Здесь Кавасаки-кун замолчал. До этого момента полностью поглощенные рассказом, мы впервые обра-

тили внимание на страдальческий облик побледневшего и задыхающегося Кавасаки-куна. Духи воспользовались телом этого слепого юноши и, несомненно, совершенно опустошили его изнутри. Однако духи нимало не собирались щадить его, но загоняли до изнеможения, передавая свою ярость и негодование.

7

Голос, звучавший из уст Кавасаки-куна, еще несколько минут назад столь импозантный и мужественный, сейчас стал совершенно иным.

Я даже подумал сперва, что начал говорить какой-то другой дух, однако нет, тембр был тот же, но в его глубине звучала грусть и горечь; к этому голосу добавился какой-то странный оттенок, вроде звука от растягиваемой заржавевшей цепи.

«...и вот, после своей смерти, пребывая в мире духов, мы ясно видели поражение нашей страны.

Именно теперь мы можем принять в себя скорбь духов — наших старших братьев, прочувствовав все на собственном теле. То, чего искренне желали тогда наши старшие братья, был *симпу*.

Тогда не задул *симпу*, которого так ждали чистые сердца. Отчего? Именно тогда он должен был задуть, травы и деревья — зашуметь, кровь — очиститься, а наше государственное устройство — проявиться, как в прозрачном кристалле. И тогда, когда мы находились в отчаянном положении и жертвовали своими телами, *симпу*, который должен был задуть, не поднялся. Отчего?

Если в современной японской истории и мог задуть *симпу*, то лишь когда наши старшие братья-духи поднялись на борьбу или когда мы шли в атаку, — только дважды. Однако не наступило такого момента, когда задул бы *симпу*, что само собой подтвердило бы божественность нашей страны. В обоих случаях — в обоих! — он не поднялся.

Отчего?

Когда мы были новичками в мире духов, то не могли разгадать этой загадки. Глядя на поверхность океана, залитую лунным светом, хорошенько рассмотрев то место, на котором разорвалась в клочки наша плоть, мы никак не могли понять — отчего тогда не возник *симпу*, поднятый силой чистой искренности?

Уголок затянутого облаками неба немного просветлел, и в лицо глянул кусочек небесной голубизны; действительно, всего дважды в темной истории человечества сострадательное лицо бога глянуло на поверхность земли. Однако *симпу* не задул. Одну группу молодых людей связали крестообразно друг с другом и расстреляли, а для другой группы молодых людей украсили мгновенно превратившимися в игрушки орденами их символические могилы. Зачем?

Хотя, оглядываясь на прошлое, можно сказать, что и наши старшие братья-духи, и мы сами, подобно посланникам, провозглашающим дурную смерть и упадок, промчались через эту страну на конях бледного цвета.

Старшие братья-духи посредством своей смерти выявили крах императорской армии и смерть воинского духа. Мы же своей смертью выявили гибель Японии и смерть японской души. И старшие братья-духи, и мы представляли собой как бы большой сосуд из стекла, вдребезги разбившийся со страшной бессмысленностью. Вместо ожидаемой сияющей славы, мы остались в памяти как один и тот же финал. А как мы стремились к рассвету, как жаждали утренней зари, как надеялись, что мы станем тем самым началом!..

Отчего?

Отчего мы, с нашей молодостью, силой, чистотой искренности, стали духами с бесславным концом? Желая дожить до утренней зари, молясь и надеясь на краю пустыни, мы стали, похоже, последним пожелтевшим лучом заходящего вечернего солнца.

...Отчего?

Однако понемногу мы стали понимать.

В дискуссиях всех стран императорская система, подобно цветку белой магнолии под ветром, раскачивалась, протягивая свой венчик к опасному голубому небу. В конце осени 1945 года премьер-министр Сидэхара¹⁴ во время аудиенции у императора слышал от него следующие слова.

„В древности одного императора поразила болезнь. Император приказал позвать лекаря, однако придворных ужасала сама мысль, что какой-то лекарь может прикоснуться к драгоценному телу божества, поэтому они не стали его звать и не давали тому никаких лекарьств. Болезнь усилилась, и он умер. Не правда ли, глупая ситуация?“

Этими словами Его Величество намекал на то, что понятие императора в демократической Японии нуждается в упорядочении.

Рядом с императором стоял его прекрасный, преданный министр, перенесший много тягот.

Это был старый лис, миротворец, покрывавшийся гусиной кожей от глубочайшего возмущения, как только слышал слово „армия“, морщинистый носитель свободы и разума великолепной английской выучки. То был один из группы джентльменов, досконально изучивших процедуру утреннего августейшего туалета, которым Его Величество более всего доверял с начала эпохи Сева¹⁵. Затрепетав, он сказал так.

¹⁴ Сидэхара Кидзюро (1872—1951) — дважды министр иностранных дел (1924—1927; 1929—1931); премьер-министр (октябрь 1945 — апрель 1946). Так называемая «дипломатия Сидэхара» 20-х годов выделялась пропагандой международного сотрудничества между империалистическими государствами и «умиротворительным» отношением к Китаю. В конце жизни сам заявлял, что являлся автором знаменитой 9-й главы Конституции 1947 года, в которой Япония заявляет об отказе от войны как средстве разрешения конфликтов. Ему же приписывается авторство заявления императора о небожественности своего происхождения.

¹⁵ 1926—1989 гг.

„Народ поклоняется Его Величеству, придавая божественности большое значение, однако в данном случае военные использовали это во вред, развязали войну и довели дело до разгрома страны. В целях улучшения положения, позицию следует пересмотреть“.

Его Величество мягко уступил.

„В начале весны 1946 года надо издать об этом высочайший указ“, — изрек он.

И вот, в середине декабря из Главного управления штабов в Департамент по делам двора поступил следующий намек,

„Не лучше ли станет позиция императора, если появится заявление, что император — не бог?“

После этого Сидэхара осведомился о личном мнении Его Величества и, в соответствии с высочайшим соизволением, выпустил такое заявление.

Как говорил сам Сидэхара, „поскольку мы в особенности стремились произвести впечатление на иностранцев, а не на японцев, сначала был составлен текст на английском языке“.

И вот, в одном параграфе этого указа содержался следующий отрывок, основанный на английском черновике.

„Таким образом, Мы живем совместно с Нашим народом, желая разделять с ним радость и горе, дабы Наши с ним интересы были едиными. Связующее звено между Нами и Нашим народом образуется посредством взаимной любви, доверия и уважения, существовавших испокон веков, а вовсе не посредством мифов и легенд. То, что император является явленным божеством, сверх того — что японский народ обладает поэтому превосходством над другими народами и в дальнейшем ему предназначено подчинить себе мир, есть совершенно беспочвенная идея“.

Здесь сильное негодование заставляет нас сказать свое слово.

Здесь, в мире духов, мы ловили каждое слово и в этом „Заявлении о человеческой сущности“ увидели ясно отраженную позицию императора. На протяже-

нии многих лет у самого императора, подобно снежным напластованиям, накапливалось желание сказать: „В действительности Мы являемся человеком“.

Храбрые и преданные офицеры шли на смерть в соответствии с указом божества о начале войны, они мгновенно успокоились в соответствии с божественным указом об окончании войны, а всего полгода спустя Его Величество сказал: „В действительности Мы являемся человеком“. Ради императора, являющегося богом, мы превращали в снаряды свои тела, направляя себя во вражеские корабли, а всего через год...

Понемногу нам становилось понятно — „отчего?“

В искренности Его Величества не приходилось сомневаться. Поскольку он сам сказал, что в действительности является человеком, это не могло быть ложью. Его Величество, восседавший на высочайшем троне, всегда был человеком. В этом мрачном мире, не имея иных друзей, помимо старых приближенных, переноса в одиночестве горе и радость, Его Величество был человеком. Чистым, маленьким, сияющим человеком.

Хорошо. Кто сможет упрекнуть за это Его Величество?

Однако в истории эпохи Сёва были два момента, когда Его Величество должен был быть богом. Иными словами, его человеческим долгом было — явиться богом. Лишь в тех двух случаях, находясь в предельных глубинах своего человеческого бытия, Его Величество должен был стать богом. И в обоих случаях Его Величество уклонился. Именно тогда, когда следовало быть божеством, он пребывал в человеческом облике.

Первый случай был во время выступления старших братьев-духов. Второй случай произошел после нашей смерти, после поражения страны.

В приложении к истории слово „если“ звучит глупо. Однако, если бы в тех двух случаях Его Величество решительно стал богом, можно было бы избежать как пустой трагедии, так и напрасного счастья.

В тех двух случаях, дважды, Его Величество, проявив себя человеком, сначала лишил духа армию, а затем лишил духа страну.

Его „блестящее правление“ отмечено двумя цветами: кровавый отметил поражение в войне, и с того дня начался унылый серый цвет. „Блестящее правление“ покрыло себя кровью в день, когда была отринута преданная искренность духов — старших братьев, а пустой серостью наполнилось со дня, когда было объявлено о человеческой природе императора. С того дня, когда все превосходящее человеческую суть было названо „беспочвенными идеями“.

Бессмертие нашей смерти было обещено...»

.....

Голос дрожал и прерывался; казалось, телу Кавасаки-куна наносятся небольшие удары со всех сторон, и впечатление было страшное. Кимура-сэнсэй, заметив неладное, пытался с помощью звуков каменной флейты как-то успокоить духов, однако те, разбушевавшись, не выказывали даже признаков умиротворенности. Совершенно явно теперь подключились духи — старшие братья и наперебой пользовались устами Кавасаки-куна; один голос сменялся другим; проследить речь какого-либо одного духа стало практически невозможно.

Мы все прижались спинами к стенам; нам не оставалось ничего, кроме как мрачно смотреть на извивающееся тело Кавасаки-куна. Его лицо бледностью напоминало покойника. Слова духов то сливались в сплошной рев, то некоторые из них можно было разобрать, то они принимались петь. Все вещи в комнате тряслись; грузы от картины в *токонома*¹⁶ часто стучали по стене, отваливались куски белой штукатурки.

¹⁶ Стенная ниша с приподнятым полом и полочками.

Снаружи, казалось, поднимается что-то огромное, невидимое глазу; разгул стихии достиг своего апогея; дождь не переставая хлестал в окно.

«А-а, как печально, как возмутительно!»

«А-а!»

«А-а!»

«Так значит, слова императора подобны поту; откуда они исходят?»

«Если бог — то по указу умирать, если бог — то по указу воевать. Сила его — не в личных свойствах, но в линии наследования от предков!»

«А-а!»

«А-а!»

«Если горний мир беспочвенен, а этот мир — реален, зачем тогда мы считали счастьем защищать всеми силами Его Величество, — просто человека?»

«Когда Его Величество стал просто человеком,

Духи, погибшие за бога, лишились имени;

Нет и святилища для их праздничного пребывания.

И теперь из их опавшей груди льется кровь;

Хотя они и пребывают в божественном мире, им нет покоя».

«Япония проиграла — ладно.

Прошла земельная реформа — ладно.

Собираются провести социальную реформу — ладно.

Раз наша родина побеждена —

Будем нести на плечах всю тяжесть поражения.

Наш народ вынесет груз поражения,

Имея силы пройти такое испытание.

Перенести унижение — ладно,

Мужественно принять требования, которым невозможно противиться, — ладно. Лишь одно, лишь одно:

Как бы ни принуждали, сколь бы ни давили,

Какова бы ни была угроза жизни,

Его Величество не должен был признавать себя человеком.

Приняв мирскую хулу и человеческое презрение,

Его Величество остался бы единым оберегаемым телом

И никогда бы не изрек ложь о беспочвенности
(Пусть в глубине души он и считал бы так). Закутав
драгоценное тело в праздничные одеяния, в сумраке
вечера

Во глубине дворца Он простерся бы перед
образами предков-императоров,

Вознес бы благодарность духам тех, кто умер за
божество.

Простой поклон, простая молитва —

Сколь уважительны были бы они!

Отчего повелитель стал человеком?!

Отчего повелитель стал человеком?!

Отчего повелитель стал человеком?!»

.....

Этот выкрик повторялся и повторялся; Кавасаки-
кун в ритм ему хлопал в ладоши, однако, поскольку
хор голосов все ширился, он перестал успевать, и
хлопки стали хаотичными.

Наконец из его рта стал вырываться сплошной
бред; все его силы кончились, голос иссяк, пре-
вратившись из свирепого тона отважного воина в сла-
бый голосок слепого юноши.

Хлопки стали едва слышными, голос то появлялся,
то пропадал; Кавасаки-кун повалился вперед и пере-
стал двигаться.

Тут мы заметили, что в просветах дождя про-
бивается рассвет, и поняли, что яростные духи скры-
лись.

Кимура-сэнсэй принялся расталкивать Кавасаки-
куна, но, коснувшись его, в растерянности отдернул
руку. Почувствовав что-то неладное, мы сгрудились
вокруг его тела. Слепой юноша был мертв.

Нас, однако, поразила не просто его смерть. Мерт-
вое лицо принадлежало не Кавасаки-куну, но кому-то
неизвестному, — оно было неопределенно изменив-
шимся, как если бы взглянуло на что-то ужасающее.

Курцио Малапарте **УКРАИНА — МОГИЛА ДЛЯ ХЛЕБА¹⁷**

Перед Могилевом на Днестре, август

Битва на Украине, которая уже несколько дней ожесточенно разыгрывается на всем фронте на Днестре перед Линией Сталина, вероятно, будет решающей для судьбы «Ворот Азии». Вероятно, читатели, пораженные вызывающие богатые воспоминания именами таких городов как Москва, Ленинград, Смоленск, т.е. целей немецкого продвижения на севере и в центре огромного фронта, еще не поняли, что настоящая игра происходит на южном фронте, что решающий театр военных действий — это Украина, в которой идет борьба не только за обладание зернохранилищем России, а за обладание дорогами, которые ведут к промышленным и горнодобывающим районам на Днестре и Дону, к нефти Баку и в Азию. Но даже если я мог бы однажды выйти за пределы моего самоограничения и описать перипетии этой гигантской битвы, все же, я сохранил бы в моих военных репортажах тот особенный характер, так сказать, «социальных сообщений», которого я придерживался с самого начала. Так как интерес, огромное значение этого похода в Россию, как мне кажется, кроется не столько в стратегических проблемах, сколько в социальных, экономических, моральных и политических проблемах, и это абсолютно новые, совершенно необычные проблемы, которые раскрывает эта война. У меня есть личный опыт о России и об ее проблемах, который происходит не только

¹⁷ Глава из книги «Волга рождается в Европе» (1943). Перевод с немецкого В.К. (2013).

из сегодняшнего дня. План работы, который я принял с момента моего первого сообщения, состоит в том, что нужно не только сообщать о фактах, которые происходят перед моими глазами, но и интерпретировать их и с абсолютной непредвзятостью освещать главные, фундаментальные проблемы этого великого конфликта.

Внимательный читатель вспомнит, что я с самого начала старался не создавать иллюзию невысокой боевой мощи советской армии. Я не упустил ни одного случая, чтобы постоянно повторять читателю, что русские войска хорошо защищаются, что они хорошо реагируют, хорошо сражаются. И я пытался, опираясь на свое непосредственное виденье технической подготовки красного солдата и его манеры бороться, узнать, каким могло быть влияние социальной и политической организации Советов, «рабочей морали», на боевую мощь и тактические достижения коммунистических войск. Я не упускал обращать внимание на то, что не следовало ожидать того, что при первом столкновении в Москве начнется революция, что крушение большевистского режима будет предшествовать тотальному поражению армии; так как, так я говорил, настоящий советский «общественный организм» — это армия, самое большое промышленное достижение коммунизма — гораздо большее, чем большие сельскохозяйственные коллективные предприятия, колхозы, гораздо большее, чем гигантские цеха тяжелой промышленности — армия. Так как советская армия — это результат двадцати пяти лет организации индустрии и «стахановского» технического обучения профессионально подготовленных коллективов.

Теперь я думаю — так как я уже достаточно глубоко продвинулся вперед по советской территории, и у меня есть возможность наблюдать вблизи большие колхозы Украины, и приближаюсь к промышленным районам на Днестре — что наступил момент сильнее подчеркнуть социальную сторону моих репортажей (не пренебрегая при этом описанием нашего наступления

и боев, которые я вижу собственными глазами), чтобы дать читателю не только фотографию, но и правдивую и объективную интерпретацию происшествий, свидетелем которых я стал, и ввести в игру все экономические, социальные, политические, религиозные и моральные элементы огромной проблемы России. Сначала я хотел бы сказать, что немецкое руководство демонстрирует определенную осторожность, пусть даже не вполне, собственно, необходимую, по отношению к русской экономической организацией, особенно сельскохозяйственной. Чтобы понять причины этой осторожности, нужно задуматься над тем, что коммунистическая пропаганда своими листовками и воззваниями по радио пытается влиять на крестьянские массы Украины, чтобы они «погребали», закапывали свое зерно. Я видел некоторые из этих листовок. Там говорится: «Крестьяне, фашистская оккупация — ваша гибель. Кому вы будете продавать плоды вашей земли? Колхозам? Фашисты разрушат колхозы. Консорциумам, кооперативам, на государственные пункты сбора зерновых? Фашисты все это разрушат. Они будут забирать ваше зерно и ничего не будут вам платить за него. Если вы хотите его спасти, закапывайте ваше зерно в землю!» Это «закапывание» зерна — древняя проблема. Уже когда шведский король Карл XII отправился захватывать Украину, ему пришлось столкнуться с этим явлением и страдать от него. Это была одна из причин его неудачи, это был пролог к Полтаве.

В 1918 году немцам, когда они оккупировали Украину, не удалось присвоить себе урожай; крестьяне «погребали» хлеб. О системе этого «погребения» тогда можно было узнать совсем немного. Весной 1920 года одного чиновника нашего Министерства иностранных дел, Вирджили-Амадори, отправили на Украину, чтобы подготовить отчет о положении на этой территории, и он вернулся с подробным исследованием о различных системах «закапывания» зерна, исследованием, которое сегодня было бы весьма актуальным, и которое

очень полезно было бы сейчас извлечь из архивов ми-нистерства.

Тогда, в 1920 году, я находился в Варшаве как атташе итальянского дипломатического представительства и имел возможность прочитать это исследование и самому побеседовать об этом с Вирджили-Амадори. Проблемой «закапывания» хлеба занимался тогда также монсеньор Дженокки, который был послан Ватиканом на Украину ввиду интересов Униатской церкви. Я познакомился с монсеньором Дженокки у апостольского нунция в Варшаве, тогдашнего монсеньора Акилле Ратти, будущего Папы Римского Пия XI. От него я узнал много подробностей, которые были очень ценны для меня, когда вскоре после этого я в июне 1920 года сопровождал польские войска маршала Пилсудского во время его Украинского похода до Киева. Последствия «закапывания» зерна были для польской армии тяжелыми, каковыми они были двумя годами раньше и для немецкой оккупационной армии; у меня была, таким образом, возможность лично узнать об этой проблеме и ее экономических и социальных последствиях; что позже оказалось для меня полезным при понимании причин ожесточенной борьбы большевиков на Украине против сельскохозяйственного саботажа. О «закапывании» зерна в Москве в сельскохозяйственной секции Библиотеки имени Ленина имеются важные документы и исследования на различных языках, с которыми я мог ознакомиться во время моего прежнего пребывания в СССР.

Сегодня немцы, составившие после своего печального опыта 1918 года исключительно интересные исследования на эту тему, показывают свое намерение для решения этой проблемы перенять у большевиков систему сборных пунктов приема урожая.

Потому что для предотвращения «закапывания» зерна, прежде всего, систему советских пунктов приема урожая нужно заменить соответствующей системой. О простом возвращении к «либеральной» системе вообще не может быть и речи. За прошедшие годы

русский крестьянин привык к советской организации мест сбора урожая и научился рассчитывать на них. Если упразднить колхозы, упразднить места сбора, и крестьянин больше не будет знать, кому он должен отдавать свое зерно, или он, если он как-нибудь заподозрит — пусть даже в скрытом виде — военную принудительную реквизицию, «погребет» его. Так же, как большевики стремятся взрывать мосты, разрушать железные дороги, устраивать препятствия на дорогах, выводить из строя машины и механизмы на промышленных объектах и т.д., они также стремятся разрушить все то, что из их экономической организации могло бы послужить немцам для сельскохозяйственной эксплуатации Украины. Присутствие многочисленных политических агентов в составе советских войск соответствует необходимости политического контроля военного руководства и необходимости пропаганды аграрного «саботажа» против вторжения.

В нескольких деревнях Подолья были открыты много ям, которые были подготовлены для закапывания урожая. В правлениях колхозов лежат стопки листовок с инструкциями для рационального закапывания зерна. У большевиков больше не было времени раздать их крестьянам. До сих пор эта пропаганда продемонстрировала только незначительные результаты: немецкие учреждения на оккупированных территориях поторопились объявить населению, что взамен колхозов сразу будут учреждены новые места сбора зерна, в которые крестьяне должны доставлять урожай, за что им будет выплачиваться новая цена, которая устанавливалась на основании уместного повышения той закупочной цены в рублях, которую им выплачивали до сих пор. Я сам мог констатировать во многих деревнях, что крестьяне приветствовали это мероприятие с определенным облегчением, как единственное, которое может гарантировать им быструю продажу урожая по относительно стабильной цене.

Впрочем, в течение этих дней я снова спрашивал себя, по какой причине большевики не сожгли урожай

перед своим отступлением. Ведь это был бы гораздо более простой и более быстрый метод саботажа, чем закапывание. Зерно созрело, предстоит сенокос, достаточно одной спички, чтобы разжечь во всей Украине ужасный пожар. Но крестьяне, без сомнения, ответили бы на такую попытку уничтожить урожай восстанием. И восстание слишком сильно благоприятствовало бы немецким планам на Украине, чтобы большевики решились рискнуть им. Я должен к тому же добавить, что все распространяемые большевиками сообщения о систематическом уничтожении урожая на Украине лживы.

Завтра, вероятно, уже через несколько часов, битва на Днестре завершится. В то время как я записываю это на платформе самоходной зенитной установки, треск артиллерийских снарядов там, над плодородной украинской равниной, разрывает красные облака солнечного заката. Немецкие и румынские раненые проходят группами, пешими, с вспотевшими лицами, молодыми веселыми взглядами. Советский офицер с тяжелым ранением в живот лежит на носилках рядом с санитарным автомобилем. Подъезжает тяжелый танк, останавливается, его стальной люк раскрывается, солдаты экипажа вылезают по очереди наружу и громко смеются. Вечер спускается на землю влажно и с запахом зерна. Я еще ничего не могу сказать о подробностях битвы. Я должен довольствоваться тем, что подготавливаю читателя к пониманию больших проблем, в природе которых состоит часть значения и объема этой войны. Когда мы через несколько дней проникнем глубже в эту область колхозов, эти проблемы будут чрезвычайно интересны; и это оправдает, по меньшей мере, большие неудобства и опасности, которые также и для меня связаны с бродяжнической и живописной жизнью немецких моторизированных колонн на дорогах Украины.

Эжен Ионеско
ГНЕВ¹⁸

108

Первый кадр. Голубое весеннее небо. Маленькая церквушка на маленькой площади в маленьком провинциальном городке. Зрители слышат перезвон ее колоколов. Колокола бьют протяжно, с длительными интервалами, и все действие сначала протекает в тягучем, замедленном темпе. Часы на церквушке показывают полдень. На площадь выходят из церкви умиротворенные, улыбающиеся люди. Они раскланиваются друг с другом, обмениваясь любезными приветствиями. Одна из почтенных дам подает милостыню классического вида нищему. «Да вознаградит вас Господь, мадам!» — растроганно благодарит нищий и произносит ей вслед: «Какое счастье, что на свете есть благородные и милосердные души!» «Как здоровье вашего мужа, дорогая?» — спрашивает вторая почтенная дама у третьей. «Благодарю вас. Он, можно сказать, счастлив. Он свыкся со своим параличом». Идут все новые люди, сердечно здороваются друг с другом — снимают шляпы, прижимают ладони к сердцу. В кадре — деревья, крыши домов, освещенные полуденным солнцем, блики на оконных стеклах. Из окна одного из домов выглядывает нарядно одетая женщина. «Не забудь купить цветы для тетушки», — напоминает она вышедшему из дома юноше. «Не беспокойся, мамочка, я поцелую ее за тебя». Можно добавить еще две-три сценки в таком же духе.

Маленькое кафе на площади. За одним из столиков сидит пожилой господин с супругой, за соседним сто-

¹⁸ La Colère, 1963. Перевод с французского С. Матвиенко.

ликом — другая чета такого же возраста. Первый господин обращается ко второму: «По воскресеньям я пью только минеральную воду, в будни же позволяю себе спиртное». «А я так наоборот», — отзывается второй господин.

С бабушкой проходит мальчик. Его ласково подзывают, одаривают конфетами. Мальчик благодарит. «Он заслужил эту конфетку, мадам, — с гордостью сообщает бабушка даме, которая угостила мальчика, — поведение у него хорошее, да и в носу не ковыряется». «Да, я получил награду за хорошее поведение», — подтверждает мальчик и показывает маленький крестик. Взрослые растроганы. «Мой внучек очень умный, — продолжает нахваливать внука бабушка. — Он хочет поступить в школу». «В какую школу?» — интересуется один из мужчин. «Э-э-э... — силится вспомнить бабушка, — в высшую ненормальную школу». Пусть у одной супружеской пары будет собачка, а у другой — кошечка. Собачка, служа, становится на задние лапки, кошечка выгибает спину и мурлычет — трогательная сценка любви животных. «Ах, как они милы, не правда ли?» — восторгаются хозяева. «Ваша кошечка не менее прелестна, чем наша собачка», — великодушно добавляет хозяйка собачки. «Она никогда не царапается», — сообщает хозяин кошечки. «А наша никогда не кусается» — это уже хозяин собачки. «Что за прелесть эти существа!» — умиляется хозяин кошечки. «Вы совершенно правы», — вторит ей хозяйка собачки. «Разве что говорить не умеют», — добавляет хозяйка кошечки. «Они все понимают», — не унимается хозяин собачки.

Один за другим следуют все новые идиллические кадры. Из церкви выходит кюре. «Добрый день, господин кюре!» — с воодушевлением приветствует его какой-то господин. «Здравствуйте, дорогой господин учитель!» Нищий не менее сердечно раскланивается с полицейским, который отвечает ему тем же и дружелюбно интересуется: «Как дела, дружище? Удалось подыскать приют?» «Спасибо, нашлась добрая душа, ко-

торая меня пригрела», — отвечает нищий. «Воистину мир не без добрых людей», — замечает полицейский. «Хвала Богу!» — поддакивает нищий. Полицейский согласно кивает. «Заходи как-нибудь ко мне в участок, — приглашает он нищего, — поболтаем».

Кондитерская. Молодой муж в одной руке держит коробку с только что купленными пирожными, а в другой — цветы. «Моя жена обожает пирожные, и особенно бисквиты с клубникой», — сообщает он хозяйке кондитерской. «Какой внимательный супруг! — восхищается хозяйка. — Сразу видно, что живете вы в добром согласии». «Я должен поспешить, она меня ждет, не хочу заставлять ее волноваться». Молодой муж, выйдя из кондитерской, машет молодой жене, которая выглядывает его из окна стоящего напротив дома. Они обмениваются воздушными поцелуями. Затем он бодро переходит площадь, направляясь к своему дому. И в другие дома входят мужчины с такими же коробками в руках. Молодая жена открывает дверь молодому мужу. «Здравствуй, моя дорогая!» «Здравствуй, милый! Ах, опять сюрприз!» Он преподносит ей цветы. Она его целует. Он вручает ей пирожные. Она его целует. Молодая жена ставит коробку с пирожными на стол, который уже накрыт к обеду, цветы помещает в вазу.

Он снимает канотье, протягивает жене. Они целуются. Зрители видят интерьер дома: светлые обои и светлую мебель, телевизор, по которому как раз передают последние известия. Уютно, мило, все сияет. «Какие новости?» — спрашивает муж. «Как всегда только хорошие», — слышит он в ответ. Женщина-диктор: «По завершении совещания глав правительств всех стран состоялся банкет в честь всеобщего примирения. Произнеся свои речи, главы правительств обменялись поцелуями». Мелькают кадры: главы правительств и генералы самозабвенно целуются, заверяя друг друга: «Мы принимаем все ваши предложения!» Муж: «Как это замечательно! Последние три года они мирятся каждый день!»

Маленькая любовная сцена: молодой муж и молодая жена целуются, награждая друг друга ласковыми словами: «птичка моя», «мой голубок», «кошечка», «лапочка», «зайчик», «душенька», «цветочек мой».

Предваряя эту сцену, следует показать несколькими короткими эпизодами, как после возвращения молодого мужа в одну из квартир этого же дома возвращается пожилой господин, тоже с цветами в руках. Когда молодой муж снимает пиджак, то и пожилой господин снимает пиджак и, как и молодой муж, отдает его жене. Зрители видят еще одну чету: бородатый священнослужитель целует свою супругу. Кроме того, еще в одной квартире муж спрашивает жену: «Какие новости?» Естественно, этот вопрос должен прозвучать немедленно после такого же вопроса молодого мужа. Любовная сцена между молодым мужем и молодой женой перемежается с аналогичными сценами на всех этажах дома. «Птичка моя», — произносит молодой муж. «Сокровище мое», — воркует жена бородатого священника. После «зайчика» маленький старичок говорит своей пухленькой супруге: «курочка моя».

Молодая жена: «Милый, пора обедать. А целоваться будем позже». «Я и в самом деле проголодался», — соглашается молодой муж. Молодая жена снимает маленький фартучек. Муж не отходит от нее. Они снова целуются. «Ну же, будь паинькой, — увещевает молодая жена, — я не хочу, чтобы ты умер от голода». Все это повторяется в других квартирах. «Ох! — вспоминает молодая жена. — У меня ведь тоже есть для тебя подарок». И вручает мужу галстук. «Ах, какой красивый!» — восклицает молодой муж и повязывает новый галстук. «И так подходит к твоему пиджаку!» — радуется жена. Муж надевает пиджак. Супруги целуются, обмениваясь ласковыми словами. Он надевает шляпу и подходит к зеркалу. «Действительно, как подходит!» Целует жену. Молодая жена увлекает его к столу. Они садятся. «Шляпа, дорогой! Не лучше ли ее снять?» Муж: «Ах, прости!» Снимает шляпу и отдает ее жене. Она кладет шляпу на место. Муж снимает пиджак и отдает

жене. Она вешает его на место. Муж собрался уже снять галстук, но передумывает: «Нет, пусть будет, он так красив!» Пусть эту фразу повторяют мужья в других квартирах.

Наконец молодые супруги садятся за стол уже окончательно. Наезд камеры на руки молодой жены — она ставит на стол тарелку с супом. По лицу молодого мужа пробегает легкая тень: «Снова суп!». Наплывом чередуются все новые руки и тарелки — ясно, что они принадлежат хозяйкам из разных квартир этого дома.

«Но в будние дни ты же суп не ешь. Вот я и варю его по воскресеньям, — с легкой обидой говорит молодая жена. — Это суп из свежих овощей». «Как это мило!» — примирительно произносит муж — и вдруг замечает в своей тарелке огромную муху. Его передергивает. «Что случилось? — обеспокоенно спрашивает жена. — Чем ты недоволен?» Муж, стараясь сохранять спокойствие: «Право же, ничего особенного. Ничего из ряда вон выходящего: как и в каждое воскресенье, в супе муха». «Муха?! Ах ты врун!» Муж: «А что это, потвоему, такое, если не муха? Посмотри». «Это ты сам ее подбросил, — возмущается жена, — чтобы позлить меня». «В своем ли ты уме, дорогая? Что за чушь ты несешь?» «Не смей оскорблять меня!» — вскрикивает молодая жена. «У меня и в мыслях не было тебя оскорбить», — оправдывается муж.

Далее мы видим, как каждый из других мужей замечает в своей тарелке муху. И каждый восклицает: «Муха!» Бородатый священник, судья, учитель, кюре, хозяин собачки. «Погляди!..» «Вот уже тридцать лет каждое воскресенье...» «До каких же пор?!..» «Ты лжешь, ты это сделал мне назло, да ты просто ко мне придираешься», — звучат реплики оскорбленных жен.

В квартире молодой пары разгорается скандал. «Столько шуму из-за какой-то мухи! — не успокаивается жена. — Можно подумать, ты такой барин! А ведь известно, кто были твои родители». Муж: «Кто?» «Старьевщики, вот кто!» «Ну и что из этого? Во-первых, они уже на заслуженном отдыхе, и потом —

все профессии равно достойны. А вообще — оставь моих родителей в покое!» «Чем же это я их обидела?» — интересуется жена. «Уж лучше быть старьевщиком, чем сводником». «Кого это ты имеешь в виду?» — вопрошает жена. «Папашу твоего драгоценного, кого же еще? Все это знают. Хотел быть старьевщиком — да кишка тонка. Хлеб это нелегкий, потому как честный». «Постыдись! — негодует жена. — Что ты поклеп возводишь на моих родителей! Да ты им по гроб благодарен должен быть. Кем бы ты сейчас был, если бы не мое приданое, никчемный ты человек?» Муж: «Они меня надули. Я вынужден был сдавать векселя за полцены». Жена: «И тем не менее ты на этом неплохо заработал». «Это не повод для того, чтобы каждое воскресенье подбрасывать мне муху в суп», — защищается муж. Жена: «Боже мой, ведь меня же предостерегали! Отговаривали: не выходи за него замуж, за этого недоумка. Ах, почему я не прислушалась к дядиным словам?! Как он был прав!» «Старый болван твой дядя! Я всегда знал, что с головой у него не все в порядке». «Однако он поумнее твоей кузины — вот уж кто дура набитая!»

В других квартирах: «Вспомни свою тетку!» (это жена священника), «Идиот твой прадедушка!» (судья), «За решеткой место твоим родственничкам!» (супруга судьи), «Вся ваша семейка — нечестивцы и богохульники!» (кюре — экономке), «Это вы-то — из благородных?! Да вы просто выскочка и самозванка, сударыня!» (нищий — почтенной даме). Хозяйка собачки травливает ее на мужа. Кошка кидается на хозяйку.

И вновь квартира молодой супружеской пары. Муж опрокидывает тарелку с супом жене на голову. То же происходит в других квартирах. По ступенькам лестниц, выплескиваясь через пороги квартир, льется суповой поток. И наступает неизбежная кульминация: мужья пускают в ход кулаки. Жены не остаются в долгу. Сыплются взаимные пощечины. Затем в ход идет посуда. Одна из тарелок, запущенная одной из жен или одним из мужей, вылетает в окно и приземляется у ног постового полицейского. За ней вторая, третья;

очередная тарелка разбивается о его голову. Полицейский хватается за свисток и дует в него изо всех сил. А события развиваются — в следующем кадре упавшая на электрическую плиту тряпка загорается, и в доме вспыхивает пожар. Кадры начинают стремительно сменять друг друга. Жильцы выбегают на лестничную клетку, гоняются друг за другом, колотят друг друга. А по ступенькам рекой льется злополучный суп.

Прибывает полиция. Ее замечают из окон. «Полиция!» — вопит один из мужей, не забыв закатать очередную оплеуху своей жене. «Полиция!» — вторит ему одна из жен.

Полицейские выскакивают из фургонов и врываются в дом. Через несколько секунд они возвращаются, волоча за собой упирающихся, невменяемых супругов. Те размахивают руками и кричат: «Спасите! Полиция!» Дом — в огне. Появляются пожарные и другие жители городка, которые бросаются на выручку задержанным.

114

В драку вовлекается весь квартал. Здесь желательнее извлечь из архивов и запустить документальные кадры каких-нибудь восстаний, столкновений, потасовок, например между белым и черным населением Южной Африки и т. п.

Крупным планом — полыхающая тряпка, ставшая причиной пожара. Пожарные пытаются обуздать громадное пламя (соответствующие кадры также можно найти в архивах). Затем — война. Пуанкаре и Клемансо обходят солдат, вытянувшихся в строй. Вывают к толпе Гитлер и Муссолини. Падают бомбы на Лондон и Гамбург. Наводнения, землетрясения — и наконец взрыв атомной бомбы.

На протяжении этого коротенького фильма время от времени, в самые ответственные моменты, на экране по очереди возникают еще два действующих лица — Одинокий господин и Дикторша телевидения. Господин сидит за столиком кафе. Вначале он спокоен и добродушен, но затем на его лице начинают отражаться беспокойство и раздражение. Они нарастают,

переходят в гнев и ярость, соответствуя происходящему на экране. Наконец его напряженное багровое лицо как бы лопается, раскалывается на кусочки. Все же, о чем вещает с телевизионного экрана спокойная и улыбающаяся женщина-диктор, напротив, звучит резким диссонансом происходящему на киноэкране. Она говорит о весне, ручейках, цветущих лугах. В последний, трагический момент она улыбается своей самой чарующей улыбкой и произносит бархатным голосом: «Дорогие дамы и господа! Через несколько минут — конец света».

Планета взрывается.

grand jeu

Антонен Арто
**О СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
РОЖЕ ЖИЛЬБЕР-ЛЕКОНТА
«ЖИЗНЬ ЛЮБОВЬ СМЕРТЬ
ПУСТОТА И ВЕТЕР»¹⁹**

В противоположность тому, что принято повсюду и вот уже более пятнадцати лет считается естественным, пришло, судя по всему, время вернуться к определению поэзии как чего-то *звучащего* — непонятно или же в соответствии с законами хроматической гаммы.

116

И вот в стихах Роже Жильбер-Леконта, который освещает своим талантом таинственные эволюции ветра и пустоту, присутствует — даже в юмористических частях его стихов, даже в тех стихах, в которых не насчитывается и нескольких слов, где лишь разрозненные слоги, не похожие ни на что привычное, — потаенная гармония, которая заявляет о себе открыто.

Гармония эта временами неуловима, иногда начинает казаться, что ее даже не существует, она едва проявляет себя. Но вся книга является неоспоримым открытием подлинной поэзии, открытием поэта в поисках поэзии, и в конце становится ясно, что поиск этот увенчался успехом.

Сборник, умный и тонкий, представляет собой поэтический обзор, некую карту внутреннего неба, розу магнетических ветров, которая среди всех магнитных влияний и потоков сориентирована в верном направлении и поэтому служит компасом и нам. Почти что

¹⁹ Перевод с французского О. Кустовой.

треть сборника только для этого и сделана. И сделана человеком, у которого есть внутренняя точка отсчета, который ищет только ему ведомый след, *некий* след, и его находит.

Роже Жильбер-Леконт указывает время, тон, нюансы, он включается в диапазон звучания и в конце концов находит подлинную поэзию, которая еще хаотична и лишь появилась на свет, но уже имеет свою отправную точку в Хаосе и Бытии, потому что поэзия всегда имеет там свою отправную точку и не является поэзией, если в ней не присутствует хоть намек на анархичность, когда в ней не теплится хотя бы огонек хаотичности, не заявляет о себе неуравновешенность и этот магнетический водоворот нарождающихся миров.

Высшее достижение сборника — это та часть, где проявляется и заявляет о себе личность поэта Роже Жильбер-Леконта, часть, где говорится о ветрах и пусоте и к тому же — о смерти.

Здесь-то и начинается звучать современная поэтическая форма, современная поэзия. Именно в этой части своей книги Роже Жильбер-Леконт порывает с современными ему поэтами, находит естественность звучания, эту пронзительную органическую атмосферу, песнь нарождающегося человека и мира — музыка стиха их влажна, она полыхает, как пламень, который извечно определяет настоящую поэзию, который черпает свои силы в самой силе жизни, в ее источнике.

Здесь, как и во всем остальном, урок нам преподает Восток. В европейской поэзии нет этого звучания смерти, нет этой бури, этих еле сдерживаемых судорог, которые можно найти, например, в тибетской поэзии, известной нам лишь в отрывках. Восток в своей поэзии обрушивается на цикл человеческой жизни, которую он захватывает с самого рождения, и отважно следует за ней до конца. Одно из самых интригующих стихотворений в книге Жильбер-Леконта то, в котором он описывает духовное падение души, угодившей в расставленные ей тенета инкарнации.

Это обычная тема высокой тибетской поэзии, но лиризм и форма принадлежат лишь Жильбер-Леконту.

Он из тех редких ныне поэтов, кто культивирует эту форму необузданного поэтического порыва, — он полыхает жаром, собирается в узел; так кричит человек, с которого сдирают кожу, поэзия тут рядится в несвязные слова, в образы-вспышки, в которых конвульсии и спазмы передают нам процесс творения природы, захваченный поэтом вживую. На несколько стихов этого сборника легли тени жуткого танца, звук в них суров, скрытен, он даже отрицает себя, и тогда поэтическое слово возвращается к себе самому и закручивается в спираль. И тут-то наконец, во времена, как всегда, антипоэтические, когда запечатленная на листе поэзия кажется затерянной тайной, и является нам настоящий поэт.

Роже Жильбер-Леконт по примеру самых высоких священных поэтов дальневосточной традиции идентифицирует в своих стихах метафизику и поэзию. Он добирается до источников зарождения образов; ему известно, что поэзия, как и любовь, как и смерть, вышли из одного и того же дерзкого источника, и поэтому он сближает их.

Восток устоял перед искушением ринуться в индивидуальную поэзию; все, что в восточной поэзии знакомо, толкует об универсальном, и поэты-индивидуалисты, если таковые и существуют, автоматически отбрасываются традицией. В поэзии Роже Жильбер-Леконта звучит как бы сожаление об утерянной традиции, звучит дальнее эхо каких-то великих мистических криков, вещает тот же голос, что грозно рокошет в писаниях Якоба Бёме или Новалиса. Это самая высокая похвала, на которую я способен, и это последнее замечание освобождает меня от необходимости говорить что-либо еще.

Роже Жильбер-Леконт
**ИЗ СБОРНИКА «ЖИЗНЬ ЛЮБОВЬ
СМЕРТЬ ПУСТОТА И ВЕТЕР»²⁰**

Темная история

Одетые в парчу крутились акробаты
Мочился небосклон
В продолговатый
Тромбон

Смерть безъязыкая глаза вдевала в уши
И пел редис
И плыли чудеса как души
В свой Парадиз

Кишки земли вздымались облаками
Был камень на
Кровь под руками
Горбуна

Колпак безносой шпарил отченаши
Яйцо вспухало что есть сил
Его из чаши
Апостол пил

И ветер взвыл как светопреставленье
Взметнулось пламя вкривь и вкось
И преступление
Сбылось

²⁰ La Vie, l'Amour, la Mort, Le Vide et le Vent (1933). Перевод с французского Михаила Яснова.

Границы любви

Между губами в поцелуе
Стекло одиночества

Погребальная песнь по славному старику

Умер славный старик
Он больше не сможет пугать
Величественной стремниной своей бороды

Умер славный старик
Он больше не сможет ходить
С блеклой улыбкой на бледных своих губах

Умер славный старик
Он больше не сможет вгонять
Бедных своих детей в нищету и страх

120

Умер славный старик
И больше не смогут твердить
Что он способен весь мир проклясть вгорячах

Умер славный старик
Он больше не сможет играть
Гром перекатывая в облаках

Умер славный старик
Он больше не сможет царить
На земле и на небесах

Умер славный старик
Клад зарытый в тайник
Спит и глядит впотьмах

В глине гниющий прах

Повешенный

Вся мировая тоска
Засосала под ложечкой так
Что удавка
Затянулась узлом

Огонь ветра

Говорят что до тверди земной
До начала времен

Только ветер живой
Только ветер свистел в пустоте

Ветер что был рожден
Прежде жизни любой

И тренье
Его завихрений

Высекло искру
Первую искру огня

Завещание

Далеко-далеко никакой ничей
Окажусь однажды
Там где знают меня лишь пределы ночей
Лишь засуха жажды
Как впивалась ногтями и вгрызалась зубами
В меня не раз
Та что злобно вперяла в меня ночами
Ужасный глаз
Вот и сплю и никак не могу проснуться
У врат нищеты
Потому что я не сумел увернуться
От нищеты
Я упал на дно мне одно осталось
Услышать как
Отпоёт меня подло гнусава жалость
И сойдет во мрак

Предположения о смерти

I

Однажды проснуться в кромешной темноте
И обнаружить что жизнь лишена единственного дара
Горячки и муки

II

Или буквально через миг
После конца света
Очутиться нигде ни в чем никак

III

Уснуть
Увидеть во сне смерть
Никогда не проснуться

Рене Домаль
**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
АНДРЕ БРЕТОНУ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СЮРРЕА-
ЛИЗМА
И «БОЛЬШОЙ ИГРЫ»²¹**

Вы обращаетесь ко мне, в частности, во «Втором манифесте сюрреализма»; следовательно, я должен ответить вам лично. Но сначала напомним следующее (события уже должны были научить вас этому):

«Большая Игра» — объединение людей в каком-то смысле посвященных; каждый из его участников, как бы он ни поступал, совершает этот поступок, желая поддержать и укрепить духовную общность группы. Кто бы ни старался, действуя со стороны, привлечь одного из нас к сотрудничеству, наивно полагая, что имеет дело лишь с неким индивидом, это не вызовет у нас ничего, кроме смеха. Вас сбивает с толку то, что вы постоянно видите перед собой только сюрреалистов, и вы, конечно, думаете, что «Большая Игра» — группа того же сорта. Вы сильно ошибаетесь. С другой стороны, вы охотно забываете, что наших произведений еще не так много; мы должны сказать об этом: легко вам осыпать нас градом упреков, один из них — что мы никогда не говорили о Лотреамоне²².

²¹ Перевод с французского Е. Павликовой.

²² Чтобы убедиться, что это не так, вы можете прочитать манифест, опубликованный в пражском журнале «РсД»; он подписан всеми членами «Большой Игры» и выражает несогласие с цензурой, которой официальная чехословацкая

Следовательно, вопрос состоит в следующем: есть ли у «Большой Игры» какие-либо причины находиться в стороне от сюрреализма (но не от тех или иных его членов — оговорка, которая должна казаться вам — но не нам! — более очевидной, чем первая)?

И все же мне пришлось бы выбирать! Во фразе одного из моих текстов вы опознали цель, которую мы преследуем, совпадающую с вашей. Дело ясное. «Совпадающая цель» подразумевает, с одной стороны, общих врагов и одни и те же преграды, которые предстоит сокрушить, а с другой стороны, совпадающие — или идущие в том же направлении — поиски. Я знаю, что люди, чьи намерения совпадают с нашими, — редкость. Малодушие, глупость, умственная лень, заражение слабоумием, непорядочность поднимают вокруг себя все более и более опасные волны враждебности. Все теснее и теснее эти люди должны сближаться друг с другом и становиться единым фронтом. Содействовал бы я такой спаянности своим приходом к сюрреализму? Это было бы по меньшей мере до смешного неэффективно, потому что, увеличивая численность вашей группы, я настолько же уменьшал бы количество участников нашей. Более того: боюсь, что сегодня сюрреалистическая деятельность — это лишь смута, видимость и неловкая возня вокруг задач своей борьбы и результатов творчества.

Борьба против общих врагов? Обсудим же это! Вспомним знаменитый опрос о возможности совместных действий, вспомним и собрание, которое последовало за ним! В связи с этим я отсылаю вас к ответу, который «Большая Игра» адресовала вам тогда. Мы подтверждали, что согласны с вашими принципами революционного действия. Мы подтверждаем это и сейчас. *В то время как со всех сторон вас критикуют*

нравственность подвергла «Песни Мальдорора». (Здесь и далее в тексте прим. автора.)

за эти принципы, для нас они остаются вне обсуждения; когда ваша группа вынуждена приводить тягостные и бесполезные доводы, доказывая, что марксизм совместим с сюрреализмом, мы, кажется, убеждены в этом даже больше вас; сейчас я вернусь к тому заблуждению, которое за этим следует. Пока что позвольте мне сравнить, с одной стороны, провозглашенное нами согласие с позицией, выражаемой в общих чертах так: левое гегельянство, примкнувшее к марксизму и, следовательно — к принципам III Интернационала; а с другой стороны — пять часов раздражительных споров, исказивших первоначальную их цель и направленных целиком против единства «Большой Игры», споров по поводу людей, критиковать которых нас обязывала сама природа нашей группы²³; я добавляю на чашу весов и отчет об этих собраниях в журнале «Варьете» (июнь 1929), за точность которого никто из нас не ручается (потому что он составлен без нас, одними сюрреалистами, по непроверенным, слишком давним и, конечно же, тенденциозным воспоминаниям). В тот вечер мы явились с самыми лучшими намерениями. Жильбер-Леконт, которого можно заподозрить в безумии, но совсем нельзя упрекнуть в том, что он не сделал все, что мог, принес детально разработанный и практически осуществимый план совместных действий (основание полемического и сатирического журнала и выпуск его большим тиражом с использованием разрушительных качеств каждого — в особенности многих сюрреалистов, способности которых в этой области мы высоко ценим; создание теоретического и, одновременно, исследовательского журнала; организация опросов и так далее); увы, выходя с собрания, я должен был в ярости разорвать этот план. И сегодня, признайтесь, немного же вы предложили бы нам в области революционных действий!

²³ Вспомните, что мы отдали целиком на ваш суд то доверие, которое вы оказываете вашим друзьям; не так легко было бы нам сделать это сегодня.

А что сделали вы в направлении положительных исследований? Что вы сделали, находясь в окружении некоторого количества индивидов, присутствие которых рядом с вами всегда приводило нас в изумление? Девять десятых тех, кто причисляет или причислял себя к сюрреалистам, только и умеют, что применять технику письма, найденную вами; делая это, они создают лишь трафареты, которые эту технику обесценивают. Так что сегодня я примкнул бы к вам, чтобы заняться незначительными общественными играми — смехотворными, буксующими на месте, поисками того, что вы неудачно назвали «сверхреальным», «сюрреальным». Занятым находкам «Изысканного трупа», автоматическому письму — в одиночку или групповому — я бы предоставил весь технический аппарат, который выработала «Большая Игра» и к которому каждый из нас имеет то или иное отношение. Чтобы найти аргументы против вашей *«забавной науки»*, мы изучили все способы деперсонализации, изменения состояния сознания, ясновидения, медитации; мы имеем неограниченные возможности (в любых мыслимых направлениях) в йоге индусов, мы систематически противопоставляем лирический и сновидческий факты, изучаем оккультную традицию (но к черту *живописность* магии!) и исследуем ментальность, называемую первобытной... И это еще не все.

В идеологическом плане результаты, которых вы достигли с помощью ваших малочисленных друзей, для меня не особенно убедительны. Здесь тоже трудно найти какой бы то ни было выигрыш. На самом деле следовало бороться по всем направлениям и нападать на все оборонительные построения усредненной человеческой мысли. Эпоха Пико делла Мирандола закончилась. Следовательно, надо было, чтобы Дух снизошел не на человека, но на группу людей. Да, необходимость тесного сотрудничества и полной сплоченности

вы прекрасно осознали. Но никогда сюрреалисты не были такой группой, и это обрекает их на гибель.

Для вас самих эта идеологическая скудость имеет свои последствия (впрочем, на вашем месте любой другой испытал бы то же самое). Таким образом, вы пришли к совершенно невыносимым заявлениям.

Например: «Время бодлеровских „совпадений“ прошло, породив такую невыносимую банальность, как критика». Тяжело видеть, что вы, Бретон, способны на столь ошеломляющее недопонимание или на такое невежество. Нужно ли напоминать вам, что такое метод совпадений, который Бодлер позаимствовал непосредственно у Сведенборга? Надо ли напоминать, что он не имеет ничего общего с тем, во что вы верите, и что этот метод — система мистической мысли и духа причастности, отрицающая рассудочный схематизм последовательной причинности и мира, разделенного на индивидуальные объекты?

Но особенно я хочу остановиться на том, как вы разделились с Гегелем во «Втором манифесте сюрреализма». Вы различаете *«собственно идеализм»* и *«идеализм абсолютный»*; *«материализм первоначальный»* и *«материализм диалектический»*. Двойное разделение совершенно необходимо и верно, я всегда делаю то же самое. Ваше утверждение об абсолютном идеализме как нельзя более точно: «...Идея любви пытается создать некое новое существо... идея Революции — приблизить день этой Революции, ибо иначе все эти идеи утратили бы свой смысл...» И, несмотря на это, вы, кажется, верите в несостоятельность Гегеля! Тогда как еще ничего не сделано на основе его важнейшей идеи: о способности человеческого рассудка к совершенствованию и о его окончательной идентификации с *объективным Духом*, который, осмысляя мир, его создает. В диалектике — она одна и та же и у Гераклита, и у Платона, и у Гегеля — ничего не изменить, чтобы она была живой в наших глазах, чтобы была огнем неизбежности, освещающим революцию. Надо беречь эту Идею. Может быть, самая большая опасность, угро-

жающая ей сегодня, — это как раз «первоначальный материализм» (мнимые материалисты, в свое время называвшие себя идеалистами, затем уставшие и опять требующие надежной системы; духовная вялость, удобная, чтобы сказать нам: «Я на самом деле революционер, и более последовательный, чем вы, господа...»). Однако вы, Андре Бретон, не можете сделать то, что следует сделать, против нового врага. Я даже боюсь, как бы вы временами не подпускали слишком близко к себе это состояние «материалистического» духа²⁴.

Вот один из самых жгучих вопросов нашей идеологической деятельности: и в этом вопросе я не слишком полагаюсь на сюрреализм, а надеюсь на «Большую Игру». Так же обстоит дело и со всеми другими пунктами нашей доктрины, потому что каждый из нас приносит свои особенные выразительные возможности на службу общей мысли. Так, Роллан де Реневиль устанавливает множественные координаты поэтического творчества (эссе, которое он публикует в этом номере, — это одна из частей его произведения), Жильбер-Леконт пишет труд «Видение эпифизом», где он возводит огненную архитектуру мистической мысли и духа причастности; именно с ним — как я мог бы отныне думать иначе о нашем общем материале? — я сделал сообщение об экспериментальной метафизике; последствия нашей погони за *реальным* (которое вы, в согласии с вашими представлениями, неудачно называете

²⁴ Я не упрекаю вас, как это делают прочие, в том, что вы не приносите абсолютный идеализм в жертву так называемому революционному материализму. Напротив, я считаю, что вы довольно энергично не поддерживаете скандальную для некоторых связь гегелевского идеализма и диалектического материализма, в отличие от всех других видов идеализма и материализма. В частности, абсолютный идеализм требует непоколебимой антидуалистической позиции и настоящей аскезы рассудка по отношению к абсолютному Разуму. Ваши доводы по поводу розы пугают меня; конкретный Дух — душа диалектики — ускользнул от вас.

сюрреальным) ужасны и конкретны по-другому, нежели ваши диалектические и псевдопифические упреждения. Действительно, я со своей стороны могу посылать вам *знаки согласия*, но должны ли они существовать без надежды на ответ?

Следовательно, подводя итоги, идеально рассматривать ваш призыв как именно обращенный к «Большой Игре»; я удостоверяю, что принципиальное соглашение между нами по программе-минимум возможно и даже — что сотрудничество желательно. Но та смута, которую вы посеяли в сюрреализме, и слабость его программы, а также тот факт, что «Большая Игра», имея теперь достаточно четкий план деятельности и законченную идеологию, реализовала лишь самые первые пункты своей программы, сделали бы сотрудничество между нами сегодня, по крайней мере, преждевременным.

Я изложил свое мнение о наших отношениях, вы сами видите, насколько мне кажется невозможным в настоящее время примкнуть к вам; а с точки зрения достаточно возвышенной и беспристрастной я не побоялся бы даже сказать: чтобы не потерять себя, идите с нами по тому же пути; если подобный призыв кажется резким требованием, то он относится только к индивидуальным суждениям, совершенно неоправданным перед безличным духом. К сожалению, пути земных воплощений — не пути Духа. Слишком очевидно, что вы, Андре Бретон, не можете прийти к нам. Но наше взаимное положение в мире, в толпе наших общих врагов, не позволяет нам взаимно игнорировать друг друга, а значит, с этих пор будем наблюдать друг за другом и посмотрим, кто — вы или мы — больше удалится от цели, которую вы иногда ясно прозревали. Таким образом, когда вы пишете: «Все заставляет... верить, что существует некая точка духа, в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, передаваемое и непередаваемое, высокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия»,

речь идет о точке, к которой стремятся наши усилия, о той точке, где мы в конце концов назначаем вам свидание. На этой дороге мы оставляем позади себя все возможные надежды, истерзанные, но постоянно возрождающиеся. За исключением тех, кто, как вы говорите, «сохраняют некоторую заботу о месте, которое они занимают *в мире*», мы, конечно, наиболее сознательные искатели, всей своей жизнью предназначенные к этому безымянному тождеству, наиболее безжалостные к людям, силой ли, хитростью или мудрствованием препятствующим нашему движению. Когда-то мы смогли прислушаться к вам как к одному из вождей, функция которых — вести за собой людей как можно дальше; вы же рискуете застыть — или попав в ловушку, которую сами поставили, или запутавшись в сетях, раскинутых тайными или явными врагами благодаря вашему исключительному ослеплению. Берегитесь, Андре Бретон: вам грозит попасть в учебники по истории литературы. А ведь если мы и добиваемся какой бы то ни было славы, то славы быть записанными для потомков в анналы истории катаклизмов.

...После всех этих оговорок, касающихся только возможности и своевременности будущего фактического сотрудничества, знайте же, Андре Бретон, что нам недостает готовности работать вместе, пока нет внешнего, довольно властного События, требующего нашего немедленного сближения; знайте, что мы продолжаем смотреть на вас как на одного из редких людей, которые не сворачивая идут по тому же пути, что и мы. Один-единственный раз вам встретились люди — и мы пытаемся объявить об этом во всеуслышание, — которые держатся в отдалении от вас, часто даже сурово критикуют, но не выплескивают на вас гнусных оскорблений. Если мы сейчас не можем предпринять ничего определенного по отношению к вам, если мы упрекаем вас, то это ни в коем случае не касается нравственных качеств вашей личности, которую мы якобы обвиняем: они по-прежнему кажутся нам — и вблизи, и издали — такими же безупречными, как и

прежде. Нужно что-то большее, чем временные расхождения или перепады настроения, чтобы разрушить оценку, которую рождает в нас человек, одержимый тем же Стремлением, что и мы, и посвятивший ему всё.

Роже Жильбер-Леконт
РЕНЕ ДОМАЛЬ²⁵

Чтобы закончить эту антологию, приведем отрывок об одном молодом философе, Рене Домале. Мы должны отвести ему собственное место, поскольку он является одним из мыслителей, которые образовали группу «Большая Игра», отразившую стремление нашей эпохи к самовыражению.

Речь идет об антипозитивистском мышлении (не имеющем ничего общего с антипозитивизмом Бергсона), которое ставит своей целью подлинное возрождение метафизики. Большая часть элементов, которые приняты для того, чтобы *действительно* охватить то, что на Западе подразумевается под словом «философия», этим молодым мыслителям кажется неприемлемой. Что же касается социологии, психофизики, психофизиологии, бихевиоризма, эти области всегда будут интересны, но, по их мнению, все эти науки объединяет название «философия», что означает едва ли не следующее: эти области исследования пока еще не являются науками; следовательно, применяя слово «философия» к еще не развившимся наукам, мы принижаем смысл самого слова «философия», потому что философия — это наука наук, познание общности духа и мира.

Для Рене Домала и его друзей философия, по сути дела, является не более чем метафизикой, базирующейся на проверенных критикой основаниях; она должна формировать из учений одно целое, намечая также, насколько это возможно, контуры единственной истины, которая является принципиальной общ-

²⁵ Перевод с французского Е. Дегтярь.

ностью познания бытия во всех его аспектах. Разумеется, это не возвращение к прежним докритическим построениям метафизики. Напротив, эти молодые философы, близкие немецким посткантианцам и в особенности гегельянству — а с другой стороны, феноменологистам, — полагают, что современная философия была диалектически необходима в качестве антитезы во время отказа от старых метафизик; но сейчас задача философии состоит в том, чтобы, поддерживая в главном приверженцев исторической и этнической эволюции умозрительного мышления, синтезировать все: Восток или Запад, кантианские метафизику и критицизм, догматизм традиционных систем и социологические (этнографические, экономические) данные — и даже учесть некоторые течения, привнесенные психологическим критицизмом, такие, как бергсонизм; осуществляя все это, возможно восстановить на прочной основе онтологическое построение картины мира, новое и не имеющее границ.

Рене Домаль (родившийся 16 марта 1908 года) — один из членов группы исследователей, ядро которой составляют Роже Жильбер-Леконт, Андре Роллан де Реневиль и он сам, они же все вместе возглавляют группу идеологически; движение мысли, которое они представляют, и свой печатный орган — журнал — они называли «Большая Игра». До сих пор самое уникальное в этом журнале то, что он начал разъяснять их образ мысли — это не только философское умозрительное построение, но прежде всего мышление, которое заявляет свои права в области эстетики, индивидуальной морали и общественной жизни, развивая и вызывая, непосредственно на практике, серьезные последствия.

Философия «Большой Игры» выступает в качестве логического аспекта некоего Аскетического единства, человеческого бытия. Она начинается с *осознания себя* — или *сомнения в себе самом*, — приходя к познанию Абсолютного Действия, которое можно постичь и определить путем последовательных отрицаний. Но этот пе-

реход от индивидуального сознания к сознанию всеобщему — не только онтологический процесс познания; он должен быть воплощен в качестве аскезы. Таким образом, эта философия противостоит общей ментальности современного Запада, как динамика противостоит статике, как работа по действительному распознаванию — абстрактному знанию. «А ты, человек Запада, — говорит она, — обрати взор внутрь себя, созерцай свой ум и помни о бочке Данаид; пока бесконечно разнообразные гипотезы беспрестанно накапливаются в умозрительном построении, твои понятия мало-помалу опустошают все содержимое...»²⁶

В соответствии с этой доктриной сознание прогрессирует, постепенно высвобождаясь от различных форм мышления; и западный мыслитель, в пику этому прогрессу, ограничивает свой выбор *status quo* конкретного *состояния* сознания. Роже Жильбер-Леконт также пишет: «[Прогресс] Запада всегда остается вне разума. Он был обращен исключительно на произведения Духа, его орудия; в самом общем смысле этого слова, они и рассматриваются под микроскопом с точностью математических операций»²⁷. Тем, кто рассуждает аналогично, западные умозрительные построения представляются основанными на интеллектуальном антропоцентризме: даже если они признают прогресс разума, в нем они видят только абстрактное понимание человеческого разума, взятого в его центральной точке, которая прочно держится в центре каждой мысли, как Земля Птолемея — в центре видимой Вселенной. Утверждается, что «Большая Игра» произвела в философии революцию, аналогичную космографической революции Коперника, и, преодолев бесчисленные мыслительные формы, выпустила сознание на бескрайние просторы сознательного Действия. «Центр сознания размышляет только о противо-

²⁶ Роже Жильбер-Леконт «Вселенная мифов» («Большая Игра», осень 1930). (Здесь и далее примеч. автора.)

²⁷ Там же.

речи между ограниченностью человеческого познания и бесконечными возможностями науки, которые человек предчувствует и исследует... — заявляет А. Роллан де Реневиль и добавляет: — Истинное сознание может обнаружиться только путем забвения того, что на этом свете мы называем сознанием»²⁸.

Значит, различные идеи этого философского учения также входят в поле зрения метафизических опытов, с помощью которых «взрослого здорового европейца XX века можно научить, — пишет Рене Домаль, — немного поупражнявшись, мыслить и осознавать себя, как мыслят и осознают себя ребенок, сумасшедший, австралиец, животное; или же ему покажут, из чего состоит подлинное „Я“, когда он говорит: „Я думаю“ и когда он говорит: „Я мечтаю“. Итак, после всех этих перемещений личности, когда он захочет испытать на себе абсолютное обезличивание, путь ему укажут законы аскетизма, которые более или менее полно выражены у мистиков, особенно у индусов, таких, например, как Патаньяли».

«Исходя из первобытного хаоса своего „психического“, — продолжает Рене Домаль, — говоря: „Это не я“, человек представляет мир в различных плоскостях. Так как представление отрицаемого объекта выражает только акт отрицания в конкретных условиях, то все сущее становится символом прогресса разума»²⁹. Иначе говоря: освобождаясь от форм мышления, сознание обнаруживает законы своего развития в единообразии их эволюции, такова для философов «Большой Игры» основа всеобщей диалектики — диалектики как в гегельянском, так и в платоновском смысле — как искусства, ведущего разум к реализации «Добра». Явления оказываются связанными между собой, поскольку каждое из них определенным образом соотносится с такого же рода действием сознания. Отсюда и абсо-

²⁸ А. Роллан де Реневиль «Ясновидец Рембо».

²⁹ Рене Домаль «Нерваль и сумеречное зрение» («Большая Игра», осень 1930).

лютный детерминизм, не только теоретический и методологический, но и практический, в конце концов приходящий к *дару действовать*, так что можно говорить о любви, о различных аспектах человеческого бытия в свете диалектики, которая приводит их в движение — и физически, и биологически, и экономически. С различных точек зрения сознание будет бороться против этой инертности явлений как выражений сознания, которое склонно вызывать их снова и снова, приучая «Я» осознавать себя только как тождественность той или иной конкретной модальности бытия и мало-помалу приводя «Я» к лениости разума, спячке и, в конечном итоге, к духовной смерти.

Именно чтобы сокрушить эту инертность, необходим — в виде начала любого уموпостроения — всеобщий и действенный бунт, если допустить такую зависимость сознания от аскезы. Мыслители «Большой Игры» вначале проявляют себя как бунтовщики во всех областях³⁰, в которых затем, добровольно жертвуя этой отправной точкой полного восстания и отрекаясь от нее, выступают как преобразователи.

Эта метафизическая, методологическая и этическая концепция аскезы дополняется размышлениями о различной последовательности явлений, рассматриваемых как система символов мышления, которая познает себя опосредованно; отсюда символичность физических и фантастических реалий (здесь «Большая Игра» находит многочисленные наставления в работах Фрейда), математических фактов (изучение пятикопечных звезд в оккультизме, пифагорейское толкование чисел и т. д.), исторических и других событий. Эта мысль также пытается извлечь истину из первобытных мифов и таинств, найти истину поэтов, которых она считает Великими, истину философий, к которым, по некоторым признакам, причисляет и себя самое.

³⁰ См.: Р. Жильбер-Леконт «Сила отречений» и Р. Домаль «„Свобода от надежды“ в „Большой Игре“» (лето 1928).

«Большой Игре» недостаточно языка абстрактной философии — ее притягивает не только философия Гераклита, Пифагора, Платона, неоплатоников, Бруно и Гегеля, которые представляют вмешательство восточного динамического элемента в европейскую философию; она также стремится встать в один ряд и со многими поэтами, которые, сознательно или нет, выразили посредством силы слов поведение доцивилизованного мышления; традиция оккультизма выражает то же самое, но на другом языке; это У. Блейк, Ж. де Нерваль, Э. По, В. де Лиль-Адан, Бодлер, Малларме, Рембо, Рене Жиль; или же такие поэты, как Лотреамон, которые боролись не на жизнь, а на смерть против всего, что вызывает оцепенение и духовную смерть. Кроме того, эти исследователи готовы во всех областях собой пожертвовать как диалектики, певцы и даже инструменты революций.

Любопытно отметить, что это направление мысли часто близко первобытному мышлению сопричастности³¹; Р. Жильбер-Леконт и Р. Домаль считают, что сами сохранили свое собственное детство как безграничную возможность духовного развития, как правило, «подавленную» у взрослых; они приписывают ему достоинства настоящего открытия, совершив некогда, будучи юношами, первобытные обряды посвящения; их роль, ставшая понятной позже, такова: увековечить в сознании взрослого всю метафизическую, фантастическую, магическую и поэтическую активность детства. Впоследствии вокруг них постепенно собирается множество друзей, они готовы вместе использовать эти духовные богатства по своему личному усмотрению³². Так образовалась группа под названием «Большая Игра».

³¹ «...Все живущее и летающее имеет душу... все причастно ко всему... все воздействует и отзывается на все, до преображения» (Роже Жильбер-Леконт, „Вселенная мифов“ в „Большой Игре“, осень 1930).

³² В действительности «Большая Игра» включает, кроме Р. Жильбер-Леконта, А. Р. де Реневиля и Р. Домалья, еще и их

Рене Домаль
**КЛАВИКУЛЫ БОЛЬШОЙ
 ПОЭТИЧЕСКОЙ ИГРЫ³³**

1

Кто-то должен прийти и сказать: Вот как всё происходит.

Лишь бы это было показано, и не важно, кто именно это сказал:

Я впустил свет.

Ведь свет тоже ничей.

140

коллег, по большей части поэтов и критиков (Пьер Одар, Монни де Булли, Андре Делон, Морис Анри) или художников (Жозеф Сима, Артюр Арфо).

Библиография группы «Большая Игра»:

Рене Домаль: «Противонебо» (1 том); «Свобода без надежды» («Большая Игра», № 1, лето 1928); «Патафизика и разоблачение смеха» («Бифур», июль 1929); «О критическом отношении к Поэзии» («Южные тетради», декабрь 1929); «Нерваль и сумеречное зрение» («Большая Игра», № 3, осень 1930).

А. Роллан де Реневиль: «Ясновидец Рембо» (1 том); «Слово» («Большая Игра», № 2, весна 1929); «Вдохновение» («Южные тетради», декабрь 1929); «Образ» («Большая Игра», № 3, осень 1930).

Роже Жильбер-Леконт: «Неопубликованные письма Артюра Рембо». Предисловие Р. Жильбер-Леконта (1 том); «Возвращение ко всему и страх на Земле»; «Вечность, твое имя Нет» (выходит в свет); «Бунт: сила отречений» («Большая Игра», № 1, лето 1928); «После Рембо: смерть Искусства» («Большая Игра», № 2, весна 1929); «Вселенная мифов: ужасное откровение» («Большая Игра», № 3, осень 1930); «Мсье Морфей, отравитель общества» («Бифур», № 4).

³³ Перевод с французского Валерия Кислова.

Если в этих «Клавикулах» есть что-то истинное, то я не осмелюсь подписать их своим именем, равно как и выражение:

$$315.789.601 + 2.210.333 = 317.999.934,$$

хотя именно я, вероятно, первым так ясно его и сформулировал.

Слово «я» вводится в вышеприведенное стихотворение для того, чтобы явить некое метафизическое существо или, точнее, диалектический момент, но никак не мою личность.

2

*НЕТ это мое имя
НЕТ НЕТ это имя
НЕТ НЕТ это НЕТ*

Индивидуальный разум достигает абсолюта в себе самом путем последовательных отрицаний; я — то, что думает, а не то, что думается; чистый субъект осознает себя лишь как предел вечного отрицания.

Сама идея отрицания — мысль; она не «я».

Отрицание, которое себя отрицает, тем самым себя утверждает; отрицание — не простое лишение, а позитивный АКТ.

Такое отрицание — это «негативная теология» в практическом приложении к индивидуальной аскезе.

3

*Отойди от себя самого подальше и смейся:
НЕТ раздается поверх твоего смеха.
Смех раздается над твоим НЕТ.
Отрекись от Имени своего, осмей свое НЕТ.*

Я мог бы твердить тебе это сутками и годами, но, возможно, сказав мне, что понимаешь, ты все равно не будешь пытаться. Так воспользуйся возможностью немедленно, прямо сейчас, когда ты меня читаешь — ну да, именно к тебе, к тому, кто меня читает сейчас, я обращаюсь, — к тебе особенно. Спроси у себя всерьез: «Кто я?»

И ты научишься осмеивать и оплакивать все, что, как ты полагал, составляло тебя самого (внешний вид, общее ощущение, настроение, характер, профессия, социальное положение, склонности, привязанности, мнения, добродетели, талант, гениальность...). Ирония, я хочу сказать — отрицание как раз и есть то орудие, что раскалывает все эти скорлупки. Чередуй методичное сомнение и методичный сарказм: так ты, возможно, избежишь интеллектуальной мумификации.

Если мое отчаяние могло бы тебя затронуть, я продолжил бы, играя на чувствах, но без иллюзий, прилагать все усилия, дабы подвинуть тебя, хоть на миг, к истинному мышлению.

4

И оттуда взирай:

Перед тобою бурлящее Море;

слово ДА сверкает, несметное, отражаясь во всех пузырьках.

НЕТ — самец, он смотрит на самку.

Один и тот же отрицающий акт делает субъект осознающим, а объект воспринимаемым. Пробудиться — значит начать думать что-то внешнее себе самому; тот, кто идентифицирует себя со своим телом или с чем бы то ни было, проваливается в сон.

Отрицание — акт простой, мгновенный, акт-прародитель, так сказать, самец. Отрицаемое, взятое собирательно и *a priori*, может оцениваться как общий принцип всех творений в результате акта отрицания, как матрица всех явлений, то есть самка.

Акт отрицания, по определению лишенный любой позитивной детерминированности, идентичен самому себе в своем вечном движении; отрицаемый объект бесконечно появляется, множественный и различный, как то, что не есть я, что не сделано из моей субстанциональной реальности, как, согласно каббале, пустота, пузырек в субстанции абсолюта.

5

Она — его жертва, его творение, ибо она — то Облечение, которое он отринул.

Она — его знание, ибо он, одинокий субъект, измыслил, явил ее, одинокий объект.

Она — его любовь, ибо она — Всё то, что не он.

Тайна всегда обратима: бойся безумия.

Это подводит нас к древним легендам о творении или, точнее, об эманации Мира. Общий фон античных космогоний, перенесенный с уровня макрокосма на уровень микрокосма, становится схемой индивидуальной аскезы, которая может применяться практически в любой момент.

Однако именно в этом мгновенном практическом применении и заключен знак, различающий истину и метафизическое заблуждение.

Метафизика смогла бы возродиться как Наука аскетических пределов.

6

Продолжай отходить от себя самого.

И оттуда взирай:

Чистое НЕТ, оскверненное именами богов, видит бурлящий мир в облачении из пузырьков;

оно измыслило, звало и вызвало эту природу,

оно рассматривало и распознало эту природу,

оно полюбило эту природу.

Здесь безумие все еще сохраняет секрет

Обратимости Тайны.

Истинная причинность — это полное сознательное сотворение следствия причиной. Отрицающий акт, через который постигается субъект и проецируется объект, является одновременно сознанием и причиной.

Причинная связь между субъектом и объектом основывается на *самом акте*, который их разделяет. Познательная связь между ними основывается на *свершенном факте* их разделения.

В-третьих, между субъектом и объектом существует любовная связь, которая основывается на утверждении их *принципиальной идентичности* вопреки их разделению.

Если ты соизволишь об этом поразмышлять, прислушайся к моему совету: будь осторожен, переходя с микрокосмического уровня на макрокосмический и наоборот; другими словами, от аскетического порядка к порядку метафизическому и наоборот. Одно будет часто казаться тебе перевернутым отражением другого, ибо по отношению к макрокосму микрокосм — это субъект. Повторяю, это опасный момент; но вообще-то никто не заставляет тебя думать об этом.

7

*Абсурдно быть заключенным
в малейший из бесчисленных пузырьков,
вызванных, званых, измысленных, —
НЕТ произносится как Я,
а Я смотрит:
Всему этому Я причина, если я — НЕТ,
Всего этого Я знаток, если я — НЕТ,
Всего этого Я любовник, если я — НЕТ.
Быть абсурдно, не быть — НЕТ, абсурдна свобода,
абсурдна истина, абсурдна любовь
такой я есть — такой я не есть — таким я
становлюсь.*

Я воспринимаю акт осознания как отрицание, но это отрицание должно быть своевременным и мгновенно абсолютным.

Это противоречие между моим понятием абсолютного существа и моим условием ограниченного индивида разрешается согласно первой подвижной триаде Диалектики: «Бытие, Не-бытие, Становление», в необходимости продвижения моей ограниченной природы к абсолютному бытию.

Акт сознания, через его обновление, превращается в *длительность*. А время лишь схема осознания, означения, которая реализуется как длительность.

8

Я отрываюсь от себя самого, заходя за себя самого, и вижу в бурлящем Море все эти ДА, что стремятся к живым формам,

Под моим отвергающим взором образуется узел из пузырьков, он сплетается в сеть сходящихся круговых движений.

Так живое тело из материальных и нематериальных покровов уединяется в бурлящее Море, где сплетаются множества прочих тел,

и заявляет:

«я — твое».

В области форм противоречию совершенного, но не реализованного сознания соответствует производство из отрицаемой *a priori* первозданной Материи организованных существ, то есть ограниченных в пространстве созданий, которые в силу самцового и отрицающего жизненного принципа создают системы движений, сходящихся, дабы придать всей совокупности длительный характер. Это телесные движения апетитов и их чувственные аспекты, желания.

Так организуется и сохраняется индивидуальное, которое пристает к сознанию столь крепко, что второе

привыкает осмыслять первое как свое или даже как самое себя.

9

Ибо НЕТ, желая говорить универсально, снимает отвергаемые-являемые покровы, которые пристают к нему, и вот я уже Оно само в этой живой Тюрьме.

Обладаю формой, отвергнув всякую форму.

Зримый образ страдания — множество.

И ты освободишься от своих пределов, когда обдумаешь и сделаешь: эта индивидуальность — моя одежда, но это не я. Вместе с тем ты будешь воспринимать как объект и собственную индивидуальность, и окружающих тебя несметных индивидов, чья суть в том, чтобы быть множеством, быть толпой.

Индивид — это беспредельное, которое мыслит себя предельным, а значит, оно лишено себя самого и мучается в какой-то одной частной форме. Если ты это поймешь, то будешь отныне все время видеть жестокое зрелище: уйму зримых страданий в формах различных тел.

10

Я терплю все это, страдаю из-за Другого, мое НЕТ призвало все это и, меня отвергая, явило Другого;

у этого панциря несколько стыков для столь редких прорывов свободы — как правило, бескорыстных действий, игры сочленений.

Основное противоречие индивидуального сознания требует преодоления. Оно преодолевается самоотречением, которое в области действия имеет следствием бескорыстный акт: таким образом, я прекращаю принимать себя за одежду, имеющую самоцель. Другой Морали нет.

11

Я заперт в неведении, мое НЕТ созерцало все существование, познало Другого, увидело мудрость;

у этого панциря несколько стыков для столь редких прорывов чутья — как правило, пяти чувств, ограниченных щелями.

Ту же мгновенную аскетическую необходимость мы возьмем за основу истинной Науки, которая должна быть мгновенным познанием, то есть интуицией: интуиция обычного человека ограничена действием разных чувств, несовершенства которых, к счастью, хорошо известны.

12

И я говорю: Я! и ненависть отделяет меня, терзая НЕТ в моей сложной форме, мое НЕТ призвало все это, узрело все вещи как одну, Отверженную, перед НЕТ утвержденную, и соединило ее и его;

у этого панциря несколько стыков для столь редких прорывов любви — как правило, жестов боязни, радости и отчаяния, в обмен на стыки в панцире у Другого.

Начиная с того же аскетического момента выстраивается диалектика любви. Присущее индивидуальному сознанию противоречие воспринимается здесь как чувство. Противоречие между индивидуальным и универсальным в действительности — то же самое, что и противоречие между удовлетворением собой и желанием себя преодолеть. Любящий субъект стремится идентифицировать себя с возлюбленным объектом; и, следовательно, сумеет познать его через интуицию, как сумел познать себя через восприятие.

Значит, любовь предполагает разделение между субъектом и объектом, а также стремление субъекта преодолеть это разделение. Таким образом, она одно-

временно боль и радость. И она разрушает себя в своем собственном свершении, поскольку конец любви есть Единение. В каждом виде существования акт Любви проявляется в отдельных действиях; как в физическом явлении³⁴

«...те странные жесты,
которые для умерщвления любви находят
влюбленные...»³⁵

Истинная любовь, — а не простая систематизация индивидуальных желаний вокруг физически, психологически и социально удобного объекта — не ослепляет, но озаряет.

13

*Как НЕТ, желая свободы, освобождает себя:
оно отвергает все действия, которые сообразны
живым кругам его заточения;
отрицая круговые движения, которые его ограничивают, оно не мешает им распространяться, сливаться с универсальным движением; оно допускает любое движение в гармонии с универсальной необходимостью, и то единственное движение, решительное и освобождающее.*

Свобода в приказе действовать — это отказ от всякого действия в духе консервативного эгоизма. Кратко, этот отказ от любого действия, сообразного с индивидуальным *statu quo*, соответствует полному подчи-

³⁴ Так называемый *физический* (а лучше сказать, механический) мир может определяться так: «Такое представление существования, где априорная форма этого существования была бы законом взаимной внеположности предметов под названием *пространство*». Можно воспринимать Пространство как символ априорной формы существования, но только как ее символ. (*Здесь и далее в тексте прим. автора.*)

³⁵ Поль Валери. Альбом старых стихов.

нению универсальному диалектическому детерминизму. И действительно, если я прекращаю осмысливать себя как одежду, имеющую самоцель, «моя» индивидуальность оказывается не больше «мною», чем весь остальной мир. (Эта истина — основная тема, например, такого произведения, как «Бхагават-гита».)

14

*Как НЕТ, желая познать, озаряет:
оно изрекает себя в животных глубинах, изрекает
себя в ментальных тенях;*

*отрекаясь от всяких видений, замутненных живой
природой стен, которые его ограничивают, оно возно-
сится, отвергая, идентифицируя и отрицая, к пони-
манию Универсального в согласии с Диалектикой;*

*оно допускает любое объяснение видимости со-
гласно универсальной диалектической необходимости,
и то единственное объяснение, решительное и оза-
ряющее.*

149

Наука должна основываться на такой же аскетической необходимости. Прогресс истинной науки — это поступательное распространение на объекты познания такого восприятия, которое субъект пропускал бы через себя.

Современная западная наука большей частью всего лишь обожествление техники; она была бы восхитительна как техника, если бы не претендовала на звание знания. Но быть знанием она не может, поскольку исходит из человеческого *status quo*, принятого как оно есть, без критического осмысления.

Отсюда невероятные затруднения, которые испытывают наши философии наук; все или почти все стремятся критически оценить способы познания, но при этом забывают рассмотреть сам объект познания в его непосредственной данности. Либо делают это поверхностно, ибо не обладают необходимым принципом: чтобы понять объект, нужно быть способным его

создать или, по крайней мере, мысленно воссоздать *a priori*. Это гегелевский принцип объективного разума, если мне будет позволено процитировать философа буквально.

15

Как НЕТ, желая себя Другим, разрывается от любви: оно отвергает в себе замкнутость многих жизней, заключенных поодиночке, позволяет им устремляться к жизни единой, страдающей от разделения, к жизни Другого;

отрицая кристаллизацию его облекавших живых форм в холодном мертвом камне, оно позволяет страждущим жизням вырваться через кровавые раны к другим страждущим жизням, отделенным от общего Моря, от единого Моря мучительно отлученных;

оно допускает всякий порыв животного множества к Самке-Прародительнице, здесь возрождающейся, такой или той, — неудержимый любовный порыв, и тот единственный любовный порыв, рвущий живую кору.

150

Под вечно ярким и неподвижным светом органические функции, способствующие поддержанию телесной формы, и иные, тоньше организованные, внутри тела образующие тельца многочисленных частных желаний, нарушаются; поскольку я прекращаю осмысливать их как свою суть и свою собственность, они тут же стремятся соединиться с природой, уже не мыслимой как нечто внешнее. Они словно животные, которые издавна удерживались под человеческой шкурой, и теперь, освободившись, спешат примкнуть к ордам себе подобных.

16

*Однако НЕТ изрекается,
изрекает себя, призывая все это,*

*изрекает себя, зная все это,
изрекает себя, любя все это.
Отойди еще дальше, за тень самого себя.*

Если наивысший акт сознания стремится себя выразить, то полное выражение свершится только при сведении трех его аспектов: творения или, точнее, призвания отвергнутых форм; познания незамечаемых сохраненных форм; приобщения форм к сознанию посредством любви.

Вот почему чем глубже субъект продвинется в осуществлении этой задачи, тем правдивее и ближе к совершенству окажется выражение.

Следует сразу понять, что в немедленном акте отрицания коренится любая поэзия. Поэт осознает себя самого, выявляя формы, которые сам же отвергает и тем самым превращает в символы, в проявления своего отказа, воспринимаемые чувствами. Он выражает себя через то, что отбрасывает и проецирует, и если предлагаемые им образы мы называем восхитительными, то наше восхищение будет всегда вызвано скрытым за ними «НЕТ». А еще выворачивание наизнанку этого таинственного проявления происходит, когда его стихотворение прочитывается другим человеком; переполняя себя эмоциями, чувствами, убеждениями, которые сам вызывает, сознательно принимая в себя эти стихии, он должен уничтожать их одну за другой путем настойчивого отрицания; так ему удастся взойти к поэтической очевидности, которая была зачатком и пребывает сутью стихотворения.

(Подобное обратное движение, обычно предоставляемое читательской инициативе, Стефан Малларме вводит в само тело стихотворения, осуществляя для предварительно воссозданного образа отрицающий отказ, который чудесным образом делает зримым сущностное небытие какой-либо вещи³⁶. В выражении «упразднена безделица» термин «безделица» навязыва-

³⁶ А Ролан де Реневиль. Поэтический опыт.

ет конкретный образ, который заранее уже отвергнут термином «упразднена»; так что навешанное представление есть представление не какого-то небытия, а небытия какой-то безделицы. Вся поэзия Малларме отражает поиск диалектической аскезы созданного, отвергнутого и сохраненного образа, что свидетельствует о невероятно ясном видении высшей поэтической тайны.)

17

и отсюда

*высший взор вперяя в зенит
высшее Я изрекая в зените —
смотри:*

Бесконечно преодолевая себя самого, бесконечно поднимаясь над самим собой, человек достигает абсолютной ясности. Поскольку восхождение на эту точку зрения есть обобщение и поглощение форм, то поэт оказывается — не обязательно зримо — одновременно творящим, познающим и любящим. Познавание интуитивно открывает ему законы гармонии, вокальные созвучия, дыхательные ритмы, реакции внутренних органов, вызванные звуками и движениями вдохновения. Творение и, отраженно, декламация или чтение стихотворения влекут за собой органические реакции. Так, для поддержания и направления медитации вполне оправданно употребление некоторых стихотворных форм (в Индии, например, это веды, называемые «мантрами» или «мыслеречьем»).

18

*Любовь пробудила животных, из твоего тела они
стремятся наружу.*

Змея извивается в костном мозге.

Лев распирает грудную клетку.

Слон упирается в лобную перегородку.

Первичная материя поэтической эмоции — это кинестетический хаос. Мешанина различных эмоций сначала болезненно ощущается в теле как копошение многих жизней, пытающихся вырваться. Обычно это мучительное чувство, заставляющее взяться за перо, поэт воспринимает как неотчетливую, но настоящую, грубо выражаясь, потребность вынести себя наружу.

19

И тысячи прочих животных кишат, копошатся, стремятся к отверстиям человека.

Их голоса слиты в ДЫХАНИЕ, дыхание пока еще хаос, вмещающий все возможные ритмы, дыханье еще страданье, оттого что оно рассеянно и множественно.

Дыхательные действия отличаются причудливым свойством модифицироваться, модулироваться в соответствии с теми страстными движениями, которые будоражат тело, и тем самым быть их грубым выражением и упрощенным изложением, однако подчиняясь тому, что мы называем контролем воли. Поэтому мы рассмотрим первичную материю поэтической эмоции в ее дыхательном проявлении. Все аффективное содержание стихотворения присутствует в дыхании — более или менее долгом либо коротком, ровном либо неровном, непрерывном либо прерывистом, коротким на вдохе и длинным на выдохе или в задержке после вдоха или выдоха, и т. д. Все оно целиком — в изменении дыхания поэта, но в хаотичном состоянии, когда эмоции друг другу мешают. Отсюда — ощущение сдавленности, зажатости или, напротив, опьянения и восторга, который обычно предшествует поэтическому творению; ярые порывы животных жизней, пробужденных простейшим размышлением, препятствуют

друг другу до такой степени, что дыхательный пыл не может свестись даже к крику.

Он еще менее способен выразиться в словах. Заранее готовых отношений между утробным гвалтом и языковыми автоматизмами нет; слова навязываются пневматическому приливу страстей лишь посредством образа. Однако лирический хаос сможет кристаллизоваться в образ только под воздействием внешней энергии.

20

*высший взор вперя в зенит, смотри,
высшее Я изрекая в зените:
вспыхнув из чистого видения, свет сверкает.*

Сверкает от Абсурдной Очевидности, от мучительной убежденности в поисках слова, которое явно не обрести, легко не изречь, в поисках Речи единой, которая провозглашает абсурдную Очевидность.

154

Это трансцендентное «да будет так» поэтического творения, противостоящее, как один полюс другому, смутному брожению животных духов, есть чистый субъект, болезненно сознающий противоречие между своей реальностью, которая мыслится абсолютной путем отрицания всех атрибутов, и животным бурлением, вызванным этим же отрицанием в человеческом теле. Чистый субъект созерцает призванные им живые формы: но почему эти формы такие, а не иные? Мое продвижение к Не-множественности, к Не-частности открывает мне множественное и частное существование, которое я рассматриваю как строгую необходимость и как абсурдность, возрастающую по мере ее очевидности.

(Ты не все понимаешь? Но как же ты можешь понять? Ты хоть раз пробовал? Пока еще нет. Все откладывал: времени хватит; и потом, ведь и так заранее ясно, о чем идет речь... Но нет, вовсе нет. Как ты час-

то сам говорил, слепому от рождения не объяснить, что такое синий свет...)

Тот, кто *видит абсурдность*, страдает от этой муки: Слово-конца-всего вертится на языке, но остается непроизносимым.

21

Речь, вобравшая весь свет, Речь пока еще не изреченная, держит в себе всю истину, Речь еще страдает от немоты — как беззвучный вопль между сведенными челюстями того, кто поражен столбняком.

Всегда готовая произвестись, эта Очевидность есть единственная и наивысшая Речь, которая никогда не изрекается, но скрывается за словами поэтов и их подкрепляет. Если бы это слово произнес Поэт, весь мир стал бы его Поэмой; он уничтожил бы мир, воссоздав его внутри себя. Запрет произносить великие сакральные слова означает страшную силу Глагола и человеческую беспомощность нашей речи.

155

22

— *К зениту все выше твой высший взор,*

в зените вещает высшее Я —

ДЫХАНИЕ сбитое

РЕЧЬ немая

в поэтическом Хаосе совокупаются в муках.

Мы дошли до критической точки поэтического проявления. С одной стороны — немой абсолют, неспособный проявиться, поскольку по определению может определить себя, лишь отвергая любое определение. Напротив — подвижная и бессвязная масса форм, которые, существуя лишь *ради* этого немого абсолюта, друг другу препятствуют, мешают обрести существование. С одной стороны — Речь, которая не обладает никаким средством выражения, с другой —

дыхание, которое вмещает грубую толчею выражений, но лишь возможных и пока лишенных смысла. Из абсолютной *сущности* и *возможности*, чье противоречие есть страдание, родится *существование* стихотворения.

23

В муках, о радость горящих углей!
Единение в человеческой шкуре поэта!
Еще один хрип, хрип вне плоти, хрип вне-неба,
хрип предродовой.
Затем недолгая мертвая тишина,
Затем:

Поле этой битвы — человеческое существо, поэт. Его индивидуум — узел творческой тайны, где встречаются ужасная мука противоречия и радость, соответствующая разрешению. Мгновение, поэт вкушает этот торжественный момент противоречия, доведенного до пароксизма, момент, чье содержание — высшее страдание, которое сосуществует с полной Радостью, возможной в расцвете жизни. Если бы я был поэтом, я бы тебе сказал:

«Как мне найти слова, способные повести тебя к этому опыту? Достаточно пустяка, чтобы я удрученно замолк: или ты слепой, и тщетны любые усилия поведать тебе о синеве; или ты зрячий, и незачем для тебя описывать синеву.

Но если ты слеп, есть крохотный шанс, что ты сможешь почувствовать свет, и тогда мне стоит продолжить.

Позволь мне, в тени, рассказать тебе о грядущем свете. Как функция порождает орган, так и ты, долго тянувшись вперед и отчаянно подражая тому, кто видит, обретишь глаза.

Позволь мне рассказать о том драматичном моменте, где Речь — еще только мучительная схема немого

хрипа. У тебя есть предчувствие тишины, набухающей громом?»

Вот что этот поэт мог бы сказать, если бы существовал.

24

Речь осваивается в горле и открывает врата.

Дыхание заполняет грудь и раздвигает ребра.

Дыхание стремится вырваться, Речь находит гортанный выход.

Ощутимая речь располагается в голосовом аппарате. Каждый звук, каждое слово, когда я его себе представляю, пользуется этим аппаратом особым образом; мне достаточно через гортань и рот пропустить накопленный в легких воздух, чтобы издать этот звук, произнести это слово. Субстанция речи — дыхательная энергия, смысл речи навязан придуманным словом и даже прежде слова — благодаря ему ухваченной идеей.

Так эта речь, постоянно стремясь к абсолютной Речи, готовит поэту органы артикуляции. Это абсолютная не-изрекаемая-Речь и есть подлинный смысл стихотворения. Под давлением нетерпеливого дыхания непроезжимое Слово искажается до тех пор, пока не впечатает в голосовой аппарат диспозицию, позволяющую дыханию вырваться. Другими словами, дабы освободиться, дыхание требует, чтобы непроезжимая Речь деградировала понемногу до состояния произнесения, играя роль клапана, который страховал бы от переизбытка Очевидности, смертельно опасной для поэта. С другой стороны, поскольку Слово произносится *точно* в момент, когда становится произносимым, из всех человеческих способов выражения поэтическая речь — несомненно, самая *точная*, самая близкая к абсолютной речи.

25

*От силы еще один хрип, на сей раз прелюдия — и:
Победа, смятение, крики; некогда заключенные,
сбитые в кучу животные вызволяются единением
молниеносного образа!*

Речь-самец и дыхание-самка совокупляются в человеческой оболочке поэта. Я специально сохраняю антиномию между грамматическими родами слов «речь» и «дыхание» и их диалектическую сексуальность: это следует понимать как обратимость и колебание, где самец иногда себя мыслит самкой, а самка — самцом.

После этого уточнения я могу говорить, повторяю, без риторических фигур, о действительном единении Речи и Дыхания в горле поэта. В этот момент все беспорядочное содержание дыхания, эта атомная туманность разрозненных разнонаправленных образов, принимает удар Речи, которая ему навязывает форму и смысла и высвобождает образ-молнию.

26

*И Речь изрекается!
И Дыхание дышит!
Речь вызволяет речевые когорты.
Дыхание одушевляет и движет слова.*

Образ — первое проявление, как первая ипостась, поэтического акта, он — Материя-Дыхание, уловленное Формой-Речью. Мгновенный образ — длительность молнии, единственное проявление мира для поэта; он — его монада, спроецированная уже для него, но существующая пока еще только в нем. Ущемление образов визуальных, слуховых, тактильных и т. д. наступают позднее. Пока же вся кипящая жизнь, стремившаяся вырваться из поэта, найдя в лабиринте речевого аппарата, установленного Речью, единственный

выход и форму, выплескивается наружу; и вот она растекается, брызжет внутри пустой сферы, в центре которой стоит поэт. И этот пузырь вот-вот лопнет от произносимых слов, затем надуется, вновь лопнет, вновь надуется, порождая «поэтический бред», о котором Платон говорит в «Федре»; так рождается, умирает и в длительности обретает себя мгновенный по своей сути акт воображения.

Посредством образа и благодаря его расположенности уже вовне устанавливаются отношения между освобожденными жизненными движениями и речевыми механизмами. Но сущностная Речь не затронута вербальными формами, которые стремятся ее выразить. Ибо она не выражает себя напрямую; она — открывающее дверь Слово-Пароль, которое позволяет порывам лирического хаоса найти, через образ, подходящие им слова. Речь отпирает уста поэта; и вместо него говорит дыхание — так приблизительно, как позволяет человеческий инструмент.

27

159

*И Идея уложена в Речи,
И твари-страсти живут в дыхании,
И, сообразно Идее Речи, их танец — свободный
ритм.*

Идея — первое универсальное и априорное определение неопределенного; Речь — первый акт Идеи в поэтическом творении. Преследуя эту Идею, выплескиваются поэтические формы, в которых живут целиком все эмоции, которые беспорядочно будоражат поэта. Два полюса поэтического проявления, самец и самка, — Идея без атрибута и первичная материя, содержащая все возможные атрибуты. Поэт — без возможных страстей — стерилен; поэт, не имеющий ничего, кроме страстей, лишен смысла и способен, самое большее, исторгать несуразные вопли.

Образ, реализуясь в словах, оставляет вместо себя пустоту, подчиненную той же форме, Речи; в эту пустоту проецируется в виде образа очередная порция дыхания. Эта настойчивость Речи под потоками слов по сути и есть поэтический ритм. Именно это и образует сам ритм; его внешние характеристики объясняются более или менее значительной силой страстей, долготой или краткостью дыхания и т. д. В итоге ритм — это дисциплина, благодаря которой «человеческие животные» находят свое единственное освобождение.

Впрочем, вербальное творчество — частный случай поэтического акта, при котором выражение использует язык. Изначально бурный напор тварей-страстей ищет выход сразу во всех частях тела; Речь не готовила специального пути для голоса; ради абсолютного смысла предоставлялось все тело. В тот миг, когда в теле готовы соединиться Речь и Дыхание, *абсолютно значимо* все тело. Союз осуществляется в танце. Животные человека выходят одновременно через ноги, которые поднимаются и опускаются, через руки, которые разводятся и обнимают, через рот, который поет, глаза, которые видят, — в общем, через все тело, данное для того, чтобы значить. Мне снится или вспоминается танец, рассказывающий о вечном возвращении, передающий глубокий вневременной мотив вековой погони, которую мы танцуем в кругу на полянах, — той отчаянной погони в кругу топтания по земле, буханья в животе, женских воплей-рыданий в сердце, мелодии щекочущих флейт, во всех первозданных лесах каждой тропической ночью мы танцуем тот самый забытый танец³⁷.

Поэты! У вас, у нас вызывают стыд — или презрительную гордость — наши отмытые добела, цивилизованные, слишком ухоженного тела. Иначе вы бы прыгнули, мы бы прыгнули в круг, чтобы выразить

³⁷ *Танец, Музыка* : я говорю не о «развлечениях», которые у нас, на цивилизованном Западе, понимаются под этими опошленными словами.

воплем наше ошеломление от жизни; здесь, на этом бульваре, мы бы вновь подали знак, призывая к безумной круговерти, к древнему Танцу, самому первому, самому чистому стихотворению.

В памяти наших голов все вертится дикое рондо; все кружится самое жуткое воспоминание о незапамятном детстве, у нас в голове крутится песнь, и наше топтание на тропе предков, песнь нашего возвращения в единственный неподвижный центр круга, песнь абсурдного знания, которым мы обладаем, песнь нашей любви, пение, танец нашей смерти — в памяти наших голов.

...пока люди, которых мы воодушевляем, отдаются сумрачному труду. Мы посеяли зерна древнего Танца на языковом поле. Танец всего тела сосредоточен у нас во рту и шевелит одни лишь слова; когда-нибудь этот танец вырвется под наши вопли для жестокого очищения нашей речи (он вырвется и на холст перед тобой, если ты сосредоточил танец в вибрации пальцев, в малый припляс карандаша или кисти), пусть он взорвется повсюду, где мы сеяли бесценные зерна, пусть взорвется античная исступленность означать. (А пока, старина...)

28

Вечное подчинило свой призрак-Повторение всему, что Число, зримое чудо раз и навеки.

Вечное растворило свой призрак-Память в чарах зеркал-близнецов, зримое превращение тревоги, вновь ожившей при воспоминании о себе.

Вечное закрепило свой призрак, оборвав дурное вращение, цикл немошной бесконечности в неподвижном круге знания по ту сторону времени.

Поэт вызывает образ как символ, длящийся вечность, и закон этого символизма — природный закон любого живого духа. И действительно, символ абстрактной вечности — постоянство, подобное постоян-

ству бессмертной души в народных поверьях; и знание *sub specie aeternitatis* какого-либо представления символизируется бесконечным повторением этого представления. Подобный символизм может восприниматься как *содеянный*, как *почувствованный*, как *задуманный*; в каждом из этих трех отношений он оказывается либо *случайным* и тогда проявляется в мучительных и невыносимых формах постоянства и повторения, либо *желаемым*, сознательным и тогда преодолевает примитивную символичность.

I. Символ, *содеянный* поэтом, — символ необходимого вызывания какого-то представления, любого представления, и в конечном счете всех представлений или мира через извечный сознательный акт, то есть отрицающий длительность. В этот момент индивидуальность поэта освобождена; он действует согласно своду сочетающихся в нем универсальных законов. А еще, в меньшей степени, являясь для истины идеальным пределом, он совершает единственный жест, способный в какой-то момент привести его индивидуальную организацию, беспросветно замкнутую в себе и на себе, к гармонии с остальной природой.

Человек, побуждаемый физиологическим детерминизмом, может случайно повести себя так же, как и поэт; не стремясь к этому осознанно, он совершит жест, который на время освободит его; и это действие будет для него тем более ценно, чем крепче он был связан: так в свои комплексы закованы невротики. Освобождающий жест, выражение необходимого отношения между его природой и природой физических, биологических и социальных явлений, будет, повторяясь, символизировать эту необходимость и станет *манией*. Мания — это действие, которое, не будь оно случайным, могло бы стать поэтическим и, совершаясь неосознанно, имеет шанс повторяться бесконечно, поскольку свойство неосознанного и есть тенденция к бесконечному повторению.

И сами поэтические произведения всегда сохраняют великое множество навязчивых повторений, не-

сущих функцию магических приемов, сильнодействующих формул освобождения и единения; ритмические обращения чисел, рифм, ассонансов, образов, которые поэт придумал, осознавая их необходимость, изначально — маниакальные выражения, выдвинутые сознанием на роль *чар*. Благодаря предписанию чисел, этих модусов единства, стихотворение есть целостность, которая не нуждается в повторении, чтобы символизировать универсальное и необходимое.

II. Символ вечного, *прочувствованный* поэтом, а затем слушателем или читателем стихотворения, — чувство совершенного соответствия между образом и необходимостью, установленного задолго до всех времен; чувство совершенной *присвоенности*: под этим словом следует понимать то, что разум чувствует этот образ *своим* и что ему требовалось вызвать именно этот, *свой*, образ и никакой иной.

Согласие между индивидуумом и представлением может совершаться случайно; это обстоятельство, порождающее манию в связи с действием, в связи с аффектом, является также чувством присвоенности. Но здесь сознание не возвысилось до познания этой присвоенности. Оно испытывает чувство фатальной неизбежности, но еще и произвольности, ибо не чувствует необходимости, вызвавшей именно это, а не какое-то иное представление. Это чувство вечной фатальности образа, воспринимаемое, впрочем, как нечто нормативное и частное из-за скрываемого в нем тревожного противоречия, составляет аффективный фон явления под названием *парамнезия*. Так, встречать нечто, принадлежащее мне вечно и неизбежно, и вместе с тем не понимать его необходимости — невыносимо, если не пытаться разрешить это противоречие; и если я себя мыслю как индивидуальный разум, то единственное объяснение этого впервые воспринятого чувства присвоенности образа может быть выражено так: «я уже воспринимал этот образ» или, более обобщенно, «я помню, что уже оказывался в таком же состоянии сознания, хотя рассудок заставляет меня считать это не-

возможным». И для любого более или менее здорового ума парамнезия очень скоро осложняется: «значит, в таком же состоянии сознания у меня уже было это иллюзорное воспоминание о таком же состоянии...», или «я помню, что я помнил», или, доводя до предела, «я помню, что бесчисленное множество раз оказывался в таком же состоянии сознания».

Нельзя сказать, что тревожность парамнезии просто и начисто стирается в поэтическом чувстве;

она преодолевается через контакт сознания с универсальным, она становится реминисценцией чего-то существовавшего вечно, того, что поэт не творил, но раскрыл, а мы мгновенно узнали. Иногда это узнавание столь поразительно, что поэт с трудом верит, что неосознанно не воспроизвел некогда прочитанное произведение другого поэта. Несомненно, платоновский миф о реминисценции частично коренится в преодолении ужаса парамнезии, поскольку у Платона стихотворение — чувственный универсум, чьи объекты являются для нас поводом вспомнить о вечных Идеях. А без этого чувства «уже виденного», трансформированного сознанием поэта в «вечно виденное», так называемое эстетическое чувство — всего лишь вульгарное и лицемерное удовлетворение либидозных стремлений.

III. Символ вечности, *задуманный*, еще не сообразный, в некотором смысле случайный, есть метафизический миф, миф о *вечных возвращениях*. Этот миф, близкий древним философам и, возможно, размышляющему подростку, дополняет и метафизически объясняет миф реминисценции. Какой бы логический механизм ни придумали впоследствии, чтобы изложить эту идею вечных возвращений, основанием для подобного верования может быть лишь аффективная основа парамнезии или движущая схема мании. Но такой миф способен удовлетворить человеческий разум лишь наполовину. Он удовлетворяет меня в той мере, в какой я объясняю необходимый или, точнее, почувствованный фатально неизбежным характер необыч-

ного представления, например, поэтического образа; но само пояснение, заключающееся в бесконечном повторении и вечном возобновлении представления, содержит логическое противоречие, в котором ощущается что-то тревожное.

Логическое противоречие может разрешиться по принципу тождества неразличимых; два идентичных образа или некое количество идентичных образов — это один и тот же образ. Итак, *уместно* и ярко, в каждый отдельный и подобный остальным момент бесконечно повторяется один и тот же единственный поэтический образ: в этой формулировке есть нечто мифическое.

29

Вот так это все происходит.

*Вот тройной ценный ключ — в нем начало и конец
обратимой тайны*

— безумие, если я воспользуюсь им неумело! —

165

Я помню об изначальном Круге: это не только самое глубокое, самое волнующее воспоминание о туманно далеком детстве, но еще и память о древнейшем космическом ритуале. Этот круговой Танец — пляска миров, та же музыка верховодит двумя кругами. Я говорил о рождении стихотворения, говорил и о рождении вселенной. Я? Какой еще «я»? Если «я» есть творение, часть этого универсума, то такой «я» не может обрисовать поэтическое сотворение мира. Всеобъемлющий Поэт не может сказать «Я». Он — «все и вся».

30

Здесь твари-страсти в своих заключенных циклических жизнях,

там их общая Мать, Морская Материя из Пузырей.

Здесь дыхание малое, слитное многих животных,

там Дыхание Великое Всемирной Самки.

И все же послушай. Нет, не мои слова, а звуки, которые раздаются внутри, когда ты слушаешь. Это шум битвы, храп спящего, крики зверей, гул всей вселенной.

31

Здесь Я говорит об абсолютном зените из взятой отдельно точки,

там НЕТ говорит об Абсолютном Зените сразу и отовсюду.

Здесь малая речь открывает двери голосового нёба отдельного человека,

там Великая Речь, совершенный Самец, пронзающий всё.

166

А теперь попробуй заговорить. Скажи что-нибудь важное. Говори; вещь или факт, который ты назовешь, станут мгновенно реальностью, если говорить о них будешь действительно *ты* сам.

32

Здесь малый поэт, зовущий, освобождаемый в заданном ритме,

там Великий Поэт, призывающий и свободный в ответ на Всеобщее Слово.

Здесь — это,

Там — то.

И наконец, послушай: ты когда-нибудь мечтал о том, чтобы быть свободным? Здесь я оставляю тебя. Постарайся из всего этого сделать нужные выводы для своего конкретного случая, и ты сделаешь, что захочешь, если, конечно, ты это ты.

1930

ulrikemeinhof

Ульрика Майнхоф **ДРЕЗДЕН³⁸**

В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года, в ночь со вторника, последнего дня масленицы, на среду, первый день великого поста, был осуществлен самый крупный в ходе II Мировой войны авианалет союзников на немецкий город — бомбардировка Дрездена.

Трижды в течение 14 часов город был подвергнут массированным ударам с воздуха. Первый удар длился с 22 часов 13 минут до 22 часов 21 минуты. Когда английские бомбардировщики вернулись на базу, они оставили после себя море огня, сполохи которого были видны на ночном небе на расстоянии 80 километров от города.

Второй удар длился с 1 часа 30 минут до 1 часа 50 минут. Улетающие бомбардировщики могли наблюдать пожар Дрездена на расстоянии в 300 километров.

Третий удар был нанесен уже бомбардировочными армадами США — на следующий день, с 12 часов 12 минут до 12 часов 23 минут.

Англичанин Дэвид Ирвинг написал в своей книге «Гибель Дрездена»: «Впервые за всю историю войн воздушный налет был настолько разрушительным, что не хватало живых — включая раненых, — чтобы хоронить мертвых».

В Дрездене постоянно проживало 630 тысяч человек. Но в момент, когда он был разрушен, в городе находилось свыше миллиона человек. По разным оцен-

³⁸ Журнал «Конкрет», 1965, №3. Перевод с немецкого А.Н. Поддубного.

кам — от 1,2 до 1,4 миллиона. Беженцы из Силезии, Померании и Восточной Пруссии, эвакуированные из Берлина и долины Рейна, эшелоны с детьми, военнопленные и иностранные рабочие.

Дрезден был сборным пунктом для раненых и выздоравливающих солдат. В Дрездене не было военных заводов. Дрезден был городом, не защищенным с воздуха — без ПВО, без зениток. Вся Германия была свято уверена, что Дрезден никогда не будут бомбить. Ходили слухи такого рода: англичане не будут бомбить Дрезден, если не будет атак на Оксфорд. Или: союзники после войны собираются сделать Дрезден новой германской столицей, поэтому город и не будут разрушать.

Было много подобных слухов, но в первую очередь никто не мог представить, что город, где ежедневно создавались новые больницы, госпитали и лазареты, город, куда стекались сотни тысяч беженцев, в основном — женщин и детей, может быть разбомблен.

168

Единственной целью в Дрездене, которая могла быть интересна с военной точки зрения, был городской вокзал, использовавшийся для переброски грузов и воинских частей. Но за три налета, когда на город сначала обрушили фугасные бомбы — чтобы выбить окна и снести крыши и оставить чердаки и квартиры незащитными перед следующей волной зажигательных бомб, — за три налета, проведенные по продуманной схеме, с дьявольской точностью и методичностью, как раз вокзал почти не пострадал.

Когда через несколько дней после этого кошмара горы трупов стали складывать штабелями в залах вокзала, железнодорожные пути уже были полностью отремонтированы. Сам же Дрезден горел семь дней и восемь ночей.

Английским военнотружущим, участвовавшим в налете, никто не сказал правды. Им сказали: ваши эскадрильи атакуют верховное командование немецких сухопутных войск, якобы расположенное в Дрездене. Им сказали: Дрезден якобы является важнейшим цен-

тром снабжения и пополнения войск для Восточного фронта. Им сказали: вашими целями являются штаб-квартира гестапо, якобы расположенная в центре города, крупный завод по производству боеприпасов и стратегические предприятия, производящие отравляющие газы.

Еще в 1943 году отдельные представители британской общественности возвысили свои голоса против бомбардировок мирного населения Германии. Епископ Чичерстерский, архиепископ Кентерберийский, председатель Совета церквей Шотландии выступили в защиту мирных граждан. Однако им, как и депутатам-лейбористам в Палате общин, было сказано: утверждения, будто имел место приказ бомбить жилые кварталы вместо военных объектов, — ложь.

Сэру Уинстону Черчиллю удалось практически до конца войны, до марта 1945 года сохранить в тайне действительный, тщательно спланированный, намеренный характер британских бомбардировок — жилых кварталов немецких городов. Дрезден был венцом этой политики. Дрезден был превращен в развалины спустя два года после того, как в Сталинграде был предрешен исход II Мировой войны.

Когда Дрезден подвергался бомбардировке, советские войска уже стояли на Одере и Нейсе, а Западный фронт проходил по Рейну. Главнокомандующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании сэр Артур Харрис, руководивший разрушением Дрездена, спустя год, 13 февраля 1946 года, поднялся в Саутгемптоне на борт самолета, чтобы покинуть Великобританию. Покинуть страну, которая более не хотела признавать его заслуг. Ибо тогда же, когда немецкое население узнало правду об Освенциме, английская общественность была информирована о Дрездене. И преступникам было отказано в славе и уважении, которые были им обещаны правительством. И здесь, и там.

В Дрездене война против Гитлера выродилась в то, против чего она, по официальному определению, ве-

лась: в варварство и бесчеловечность, которым нет никаких оправданий.

Если требуется доказательство, что не бывает праведных войн, то Дрезден — такое доказательство. Если требуется доказательство, что оборона неизбежно превращается в агрессию — Дрезден такое доказательство. Если требуется доказательство, что правительства используют в преступных целях свои народы, которые в результате деградируют, становятся жертвами варварства и находят предлоги для оправдания варварства — Дрезден такое доказательство.

Тот факт, что к катафалку сэра Уинстона Черчилля не был прикреплен порочащий ярлык с надписью «Дрезден», рождает подозрение, что это преступление будет навсегда вменено в вину народу, который и сам был обманут. Это тот же обманный трюк, который использует [наше] федеральное правительство, когда оно не отменяет срока давности по отношению к убийствам, совершенным при нацизме.

Кто не обвиняет конкретных убийц, тот обвиняет весь народ...

Ульрика Майнхоф
**ОТ ПРОТЕСТА —
К СОПРОТИВЛЕНИЮ**³⁹

«Протест — это когда я заявляю: то-то и то-то меня не устраивает. Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы то, что меня не устраивает, прекратило существование. Протест — это когда я заявляю: всё, я в этом больше не участвую. Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы и все остальные тоже в этом не участвовали». Приблизительно так — дословно не помню — говорил на конференции по Вьетнаму в феврале этого года в [Западном] Берлине один чернокожий американец, представитель движения «Black Power».

Студенты вовсе не «устраивают восстание», они учатся сопротивляться. Да, полетели камни, да, разлетелись вдребезги стекла в здании концерна Шпрингера в [Западном] Берлине. Запылали машины, были захвачены водометы, пострадала одна из редакций «Бильд цайтунг», были проткнуты шины, парализовано транспортное сообщение, опрокинуты грузовики, порваны цепи полиции — да, было применено насилие, физическое насилие. Выходу шпрингеровской прессы, несмотря на это, помешать не удалось, уличное движение было восстановлено через несколько часов. За оконные стекла заплатит страховая компания. Вместо сожженных грузовиков выедут другие. Поголовье полицейских водометов не уменьшится, как не будет недостатка и в резиновых дубинках.

³⁹ Журнал «Конкрет», 1968, №5. Перевод с немецкого А.Н. Поддубного.

Значит, все, что случилось, может повториться вновь: шпрингеровская пресса может и дальше продолжать свою кампанию оголтелой травли,

Клаус Шутц может и дальше призывать к тому, чтобы «посмотреть этим субъектам в лицо» и — будем последовательны — врезать по ним (как это уже было 21 февраля⁴⁰), а в конечном итоге — стрелять.

Граница между словесным протестом и физическим сопротивлением была пройдена во время демонстраций в связи с покушением на Руди Дучке в пасхальные дни — впервые в массовом порядке, а не отдельными личностями, в течение нескольких дней и повсеместно, а не только в [Западном] Берлине, на практике, а не символически. После 2 июня жгли газеты Шпрингера — теперь пытаются блокировать их доставку. 2 июня бросали только помидоры и тухлые яйца — теперь бросают камни. В феврале был показан веселый и смешной фильм о том, как делать «коктейль Молотова» — теперь бутылки с коктейлем действительно запалыхали. Граница между протестом и сопротивлением была пройдена — но пройдена неэффективно. И все же то, что случилось, может повториться: соотношение сил не изменилось. Сопротивляться научились. Но позиции власти захвачены не были. Так можно ли поэтому назвать все произошедшее бессмыслен-

⁴⁰ В феврале 1968 г. в Западном Берлине в помещениях Технического университета проходила Международная конференция по Вьетнаму, завершившаяся 12-тысячной антивоенной демонстрацией протеста, в которой участвовали и все иностранные делегации. Хотя Сенат Западного Берлина запретил демонстрацию, власти побоялись разогнать демонстрантов из опасения международного скандала. Однако 21 февраля концерт Шпрингера (весь февраль нагнетавший погромные настроения), Сенат Западного Берлина и ОНП организовали контрдemonстрацию, участники которой безнаказанно отлавливали на улицах и зверски избивали студентов, профессоров, журналистов и вообще длинноволосую молодежь. Эти события получили название «Один день вернувшегося нацизма».

ным, шапкозакидательским, террористическим, аполитичным, бессильным насилием?

Давайте поставим точки над «i». Чего хочет политическая власть? Та власть, что осуждает бросающих камни демонстрантов и поджоги, но не оголтелую шпрингеровскую пропаганду, не бомбардировки Вьетнама, не террор в Иране, не пытки в ЮАР. Та власть, которая может — по закону — экспроприировать Шпрингера, но вместо этого создает «большую коалицию». Та власть, которая может в СМИ рассказать правду о газетах «Бильд» и «Берлинер цайтунг», но вместо этого распространяет ложь о студентах. Та власть, что лицемерно осуждает насилие и привержена «двойному стандарту», что стремится именно к тому, чего мы, вышедшие в эти дни на улицы — с камнями и без камней — вовсе не хотим: навязать нам судьбу бессильных, лишенных самостоятельности масс, навязать нам роль никому не страшной оппозиции, навязать нам демократические игры в песочнице как нашу судьбу. А если дело примет серьезный оборот — чрезвычайное положение.

Джонсон, который объявил Мартина Лютера Кинга национальным героем, Кизингер, который выразил по телефону соболезнование в связи с покушением на Дучке — оба они представители системы насилия, системы, против которой выступали и Кинг, и Дучке, системы насилия, которая породила и Шпрингера, и войну во Вьетнаме. Поэтому ни у Джонсона, ни у Кизингера нет ни морального, ни политического права осуждать сопротивление студентов.

Вновь ставим точки над «i». Документально доказано, что у нас не просто кто-то кого-то расстрелял среди бела дня, а что протест интеллигенции против оглушения масс был серьезно изучен и осмыслен концерном Шпрингера — и концерн принял меры, чтобы провозгласить тех, кто выступает против [его] кампании оглушения, людьми, выступающими против бога, и вообще субъектами, которые якобы всегда против всего. Документально доказано, что бюргерская фир-

ма «Обычаи & Хорошие манеры» — это кандалы и что эти кандалы могут и должны быть разбиты, если кандалников начинают избивать и расстреливать. Документально доказано, что в этой стране еще есть люди, которые не только втайне не поддерживают и осуждают террор и насилие, но готовы рискнуть сказать это открыто и не дают себя запугать, то есть что есть люди, способные сопротивляться и показать всем, что так, как прежде, продолжаться не может. Документально доказано, что пропаганда смерти общественно опасна, и поэтому в обществе нашлись силы, готовые не идти на закляние. Документально доказано, что человеческая жизнь стоит гораздо больше оконных стекол и машин — как грузовиков концерна Шпрингера, так и автомобилей демонстрантов, разбитых и искалеченных полицией во время акции снятия блокады со здания издательства Шпрингера в [Западном] Берлине. Документально доказано, что в обществе наконец появились силы, готовые не только называть невыносимое невыносимым, но и организовывать процесс разоружения Шпрингера и его прислужников.

Итак, было продемонстрировано, что в нашем распоряжении есть и другие средства, более эффективные, нежели те, что доказали свою несостоятельность (я имею в виду демонстрации, протесты, слушание дела Шпрингера и т. п.), раз не смогли предотвратить покушение на Руди Дучке. Итак, поскольку кандалы фирмы «Покой & Порядок» уже разорваны [самой властью], мы можем и должны начать новую дискуссию о насилии и ответном насилии. Ответное насилие в той форме, в какой оно практиковалось в пасхальные дни, не подходит для того, чтобы вызвать симпатии [оппозиционных сил], чтобы привлечь на сторону внепарламентской оппозиции запуганных правительственным насилием либералов. Ответное насилие должно превратиться в такое насилие, которое соразмерно полицейскому насилию, в такое насилие, в котором продуманный расчет заменит бессильную ярость, такое насилие, которое на использование полиции в качестве

вооруженной, военной силы тоже ответит вооруженными, военными средствами.

Истеблишмент, «правлящую верхушку» нужно принудить к переговорам с Руди — так, чтобы правительство, парламентские партии и союзы [предпринимателей] поняли: сейчас есть один-единственный способ сохранить их любимую фирму «Покой & Порядок» — экспроприировать Шпрингера.

Шутки кончились.

«Протест — это когда я заявляю: то-то и то-то меня не устраивает. Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы то, что меня не устраивает, прекратило существование».

Ульрика Майнхоф ВЬЕТНАМ⁴¹

Во Вьетнаме Вашингтон похоронил эру Кеннеди и эксгумировал эру Даллеса.

Судите сами. В военном отношении: угрозы атомных бомбардировок — угрозы «массированного возмездия»; это — стратегия «всё или ничего» Джона Фостера Даллеса, это безумная политика «большой войны». В политическом отношении: предложение Джонсона вести переговоры без предварительных условий — то есть предложение вести переговоры под угрозой американских тяжелых и сверхтяжелых вооружений; это как раз политика силы, за которую выступали Даллес и Аденауэр, но никак не Джон Фицджеральд Кеннеди. В отношении политических союзов: сообщения, что в последнее время американские дипломаты постоянно заявляют европейским партнерам [по НАТО], что их отношение к войне во Вьетнаме является своего рода лакмусовой бумажкой, которой проверяют верность «союзническому долгу» («Франкфуртер альгемайне», 26.04.1965), указывают на то, что Вашингтон мыслит в категориях «друг или враг», не допуская существования нейтральных сторон. Итак, локальный конфликт превратился в международно-политический пробный камень антикоммунистической преданности политике США. Это не имеет ничего общего с просвещенным антикоммунизмом Кеннеди. Вьетнам сегодня — это уже не просто грязная война, Вьетнам — это воронка, которая засасывает в себя всех, Вьетнам — это возврат в эпоху «холодной войны» Даллеса.

⁴¹ Журнал «Конкрет», 1965, №5. Перевод с немецкого А.Н. Поддубного.

Именно госсекретарь США Джон Фостер Даллес заложил во Вьетнаме мину замедленного действия. В 1954 году — то есть в год поражения Франции во Вьетнаме и в год Женевских соглашений — он создал в Маниле СЕАТО и в дополнительном протоколе к Манильскому пакту распространил «гарантии безопасности» на Южный Вьетнам. Таким образом, граница по 17-й параллели превратилась в часть «железного занавеса». Путь к нейтралитету [Индокитай] был заблокирован. Индокитай стал частью глобального противостояния «Восток — Запад».

Только новая интерпретация нейтрализма со стороны Кеннеди, его готовность признавать право государств быть нейтральными, создали предпосылки к тому, чтобы рассматривать национально-освободительные движения не через призму противостояния «Восток — Запад». Одновременно внешняя политика Кеннеди основывалась на отказе от нового передела сфер влияния Востока и Запада — и, в конечном итоге, на признании того факта, что всякие военные союзы нежизнеспособны, если они заключаются с правительствами, не имеющими поддержки у собственных народов. Кеннеди понимал, что сам по себе антикоммунизм не является основанием для того, чтобы исповедующие его правительства становились надежными союзниками [США] — особенно в тех случаях, когда антикоммунизм служил в первую очередь для насильственного навязывания собственным народам реакционных авторитарных режимов. Кеннеди был полон решимости покончить с эрой Эйзенхауэра — Даллеса и во внутренней, и во внешней политике. Времени, которого ему отвела судьба, оказалось слишком мало, чтобы заложить такую основу, от которой уже невозможно было бы отказаться [его преемникам]. Свержение коррумпированного режима Дьема в Южном Вьетнаме осенью 1963 года выглядело как начало новой, позитивной вьетнамской политики США, как начало компромисса. За всё, что с тех пор случилось в Южном Вьетнаме, за то, что мина замедленного дей-

ствия Даллеса сработала, несет ответственность Джонсон. Трудно сказать, кто заставил Джонсона отойти от линии Кеннеди, которой Джонсон первоначально последовательно придерживался. То, что он сегодня в собственной стране оказался в одной компании со сторонниками Эйзенхауэра и Даллеса, подтверждает наши опасения, что война во Вьетнаме — это не только disaster⁴², но принципиальный поворот в американской внешней политике. Главным противником Джонсона по вьетнамскому вопросу является сенатор Фулбрайт, который и по германскому вопросу зачастую демонстрировал несколько больше трезвости и несколько меньше закоснелости. Времена президентских выборов, когда «партию войны» представлял Барри Голдуотер, а Джонсон, наоборот — «партию мира», ушли безвозвратно.

Если Макнамара сегодня — после бесчисленных американских бомбардировок Вьетнама — рассматривает просачивание северовьетнамских вооружений в Южный Вьетнам как «агрессию», если он утверждает, что ВВС США бомбят только военные цели (хотя весь мир обошло множество снимков разрушенных школ и больниц), если Джонсон, предлагая переговоры под угрозой применения ядерного оружия, ссылается на Мюнхенское соглашение, то есть сравнивает Хо Ши Мина с Гитлером, то американская политика откровенно приобретает черты политики Даллеса на Тайване и в Ливане, но никак не черты политики компромисса Кеннеди в Лаосе. Это — раздувание конфликта, а не его прекращение. Военные союзы Джона Фостера Даллеса были заключены без учета интересов народов. Теперь они утверждаются без учета интересов этих народов.

Последствия, которые может принести всему миру такой рецидив «холодной войны» в американской внешней политике, пока трудно предсказать. Но новая

⁴² В американском политическом языке disaster (бедствие, несчастье — *англ.*) значит «катастрофа».

ставка на воинствующий антикоммунизм во внешней политике США не сплотит Запад в единый блок, поскольку дуализм «Восток — Запад» уже не работает, в отличие от 50-х годов. Это, однако, не делает ситуацию менее угрожающей. Я говорю о Германии. Бонн никогда не отрекался полностью от эры Даллеса, которая обеспечила расцвет ФРГ, — даже если бундестаг при Кеннеди никогда не заседал в Берлине.

Остается лишь надеяться, что Линдон Б. Джонсон, который начинал свою политическую карьеру при Рузвельте, еще не сказал последнего слова.

extremum

Ноам Хомский
**ВОЙНА — ЭТО МИР.
СВОБОДА — РАБСТВО.
НЕВЕЖЕСТВО — СИЛА⁴³**

Политическая терминология обычно двусмысленна. Одно значение термина словарное, другое — то, которое полезно для обслуживания власти, то есть доктринальное.

Взять, например, слово «демократия». Здравый смысл подсказывает, что общество демократично в той степени, в какой народ может осмысленно участвовать в управлении своими делами. Доктринальное значение иное: демократия — это система, при которой решения принимают сектора бизнес-сообщества и связанная с ними элита. Общество превращается из участника в зрителя, как объясняют ведущие теоретики демократии, в данном случае Уолтер Липпман. Ему дозволяется утверждать решения его «лучших представителей» и наделять поддержкой тех или иных среди них, но не вмешиваться в суть дела: политика государства — не его дело.

Если какие-то сегменты общества пробуждаются от апатии, организуются и начинают выходить на арену, то это не демократия, а, говоря технически, «кризис демократии», угроза, которую надо так или иначе преодолеть: в Сальвадоре для этого применяют-

⁴³ Из книги «Как устроен мир» (АСТ, 2014). Перевод с английского Л.Ю. Кабалкина.

ся «эскадроны смерти», в США — более тонкие, не настолько прямолинейные действия.

Или взять «свободное предпринимательство» — термин, практически подразумевающий систему общественного субсидирования и частного присвоения при массированном вмешательстве правительства в экономику для поддержания государства, существующего для социального вспомоществования богатым. Фактически любая фраза, содержащая слово «свободный», на самом деле означает нечто противоположное его буквальному значению.

Оборона «от агрессии» предсказуемо оборачивается именно агрессией. Когда США напали в начале 1960-х годов на Южный Вьетнам, либеральный герой Эдлай Стивенсон объяснял (в хоре с другими), что мы защищаем Южный Вьетнам от «внутренней агрессии» — имелась в виду «агрессия» южновьетнамских крестьян против ВВС США и наемнической армии под американским командованием, изгонявших людей из их домов и запикивавших в концентрационные лагеря, где им обеспечивалась «защита» от южных партизан. На самом деле эти крестьяне охотно поддерживали партизан, а марионеточный проамериканский режим был просто пустой скорлупой — в этом сходились все стороны конфликта.

Доктринальная система приобрела за истекшие с тех пор тридцать лет величественные очертания: мысль, что США напали на Южный Вьетнам, обычно не высказывается, более того, она никому не должна приходить в голову. Соответственно, главные вопросы той войны не подлежат обсуждению. Аполोगеты политкорректности могут гордиться своими достижениями, которые было бы трудно воспроизвести даже в хорошо отлаженном тоталитарном государстве.

Обратимся к «мирному процессу». Наивным может казаться, что имеется в виду поиск мира. Тогда пришлось бы считать, что мирный процесс на Ближнем Востоке включает, например, предложенный египетским президентом Садатом Израилю в 1971 году все-

объемлющий мирный договор, поддержанный почти всем миром, включая официальную американскую дипломатию; резолюцию Совета Безопасности ООН от января 1976 года, внесенную главными арабскими странами при поддержке Организации освобождения Палестины (ООП), призывавшую к созданию в рамках урегулирования арабо-израильского конфликта двух государств и получившую почти единодушную всемирную поддержку; предлагавшиеся ООП в 1980-х годах переговоры с Израилем о взаимном признании; ежегодные голосования в Генеральной Ассамблее ООН, как, например, в декабре 1990 года (144 голоса «за» и 2 «против») о проведении международной конференции по арабо-израильской проблеме, и т. д.

Но искушенные люди понимают, что все эти усилия не имеют отношения к мирному процессу. Причина в том, что для поборников политкорректности термин «мирный процесс» относится к действиям американского правительства — в приведенных примерах это блокирование международных усилий по достижению мира. Вышеприведенные примеры не относятся к категории мирного процесса, так как США поддержали отказ Израиля от предложения Садата, наложили вето на резолюцию Совета Безопасности, противились переговорам и взаимному признанию ООП и Израиля, регулярно выступают вместе с Израилем — а то и накладывают вето — против любых попыток мирно решить проблему дипломатическим путем в ООН или вне нее.

Мирный процесс сводится к американским инициативам, а они представляют собой призывы к диктуемому США одностороннему решению без признания национальных прав палестинцев. Так все устроено. Тем, кому навыки читать правильно не даются, лучше искать себе другую профессию.

Примеров этому множество. Обратимся к термину «особый интерес». Отлично смазанная пропагандистская машина республиканцев 1980-х годов регулярно обвиняла демократов в том, что они являются партией

«особых интересов»: женщин, профсоюзов, молодежи, фермеров, короче говоря, всего населения. В наличии особых интересов никогда не уличался только один сектор населения — корпорации и вообще бизнес. Что разумно: в терминах политкорректности их особый интерес является общенациональным, склониться перед ним обязаны все.

Демократы в ответ скулили, что никакая они не партия особых интересов, что они тоже обслуживают общенациональный интерес. Так оно и есть, но их проблема заключалась в отсутствии у них целенаправленного классового самосознания их республиканских оппонентов. Те без всяких экивоков сознают свою роль представителей хозяев и управленцев, ведущих непримиримую борьбу с населением, причем нередко с использованием вульгарной марксистской риторики и понятий, прибегая к истерике, страху и террору, преклонению перед великими лидерами и другим стандартным приемам контроля над населением. У демократов нет той же ясной лояльности, поэтому они не так эффективны в пропагандистских войнах.

Наконец, обратимся к термину «консервативный», который теперь относится к сторонникам мощного государства, вмешивающегося в экономику и в общественную жизнь. Они выступают за высокие государственные расходы и славят послевоенный пик протекционистских мер и гарантий от рыночных рисков, сужение индивидуальных свобод при помощи законодательных и судебных мер, защиту «Святого государства» от произвольных гражданских инспекций. Короче говоря, все эти программы представляют собой прямую противоположность традиционному консерватизму. Они провозглашают лояльность «народу — хозяину страны», который «должен ею править», говоря словами одного из отцов-основателей США Джона Джея.

Ничего сложного здесь нет, главное — усвоить правила.

Чтобы вникнуть в смысл политических разглагольствований, необходимо перевести сказанное на англ-

лийский язык и расшифровать демагогию прессы, академических ученых-социологов и секулярного духовенства. Задача ясна: добиться невозможности подыскать слова для связного рассуждения на темы, представляющие важность для нормальных людей. В таком случае можно не сомневаться, что устройство общества и события в мире останутся непонятными, и это будет крупным вкладом в «демократию» в политкорректном значении этого слова.

Ален де Бенуа
ХАЙЕК: ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ⁴⁴

Фридрих фон Хайек (р. 1899), доктор права и политических наук Венского университета, получивший в 1974 г. Нобелевскую премию по экономике, стал ныне самым цитируемым автором рыночников всех мастей. Его идеи оказали огромное влияние на интеллектуалов и политиков во многих странах, особенно в Великобритании, США и Франции. Он был и остается непрекращаемым авторитетом, «римским папой» экономического либерализма.

Согласно Хайеку, история человечества выявила две противоположные социокультурные системы. Первая, «родовой строй», отражает «примитивные» условия существования человечества и характеризуется обращенным в себя, замкнутым и самодостаточным обществом, где социальное поведение его членов определяется усвоенными всеми индивидуумами едиными социальными целями. В таком обществе, согласно Хайеку, главную роль играет инстинкт, а человеческие взаимоотношения основываются на чувстве групповой солидарности и бескорыстных отношениях внутри группы. Такой «родовой строй», учит Хайек, в ходе прогресса сменяется второй системой — «расширенным обществом» или «расчлененным строем». Социальные структуры становятся более беспристрастными, а социальная взаимосвязь индивидуумов — менее интенсивной. В таком обществе, доказывает Хайек, инстинкт становится бесполезным, а непосредственное

⁴⁴ Из книги «Против либерализма. К четвертой политической теории» (Амфора, 2009). Перевод с французского Александра Дугина.

инстинктивное поведение сменяется абстрактным следованием договору, сохраняясь лишь в таких микроскопических социальных группах, как семья. «Расширенное общество» Хайека — такая общественная система, где спонтанно формируется отсутствие общих социальных целей.

Таким образом, современное общество для Хайека представляет собой именно такой вид социального устройства, который человеческая воля не в состоянии ни произвести, ни даже исправить. Спонтанное образование этого строя, однако, полностью подчиняется схеме Чарлза Дарвина. Современная цивилизация сформировалась в процессе культурной эволюции и естественного отбора, а социальные правила играют роль своеобразных мутаций в этой неодарвинистской теории: некоторые из них выживают в силу большей эффективности, предоставляя естественное преимущество тем, кто их принимает. Такой социал-дарвинистский взгляд естественным образом соотносится с идеологией прогресса и предполагает оптимистическое, сугубо утилитарное понимание человеческой истории. «Расширенное общество» Хайека имеет большую ценность, чем «родовое общество», и доказательством его превосходства является успех либеральной модели в современном мире.

«Предоставьте каждого самому себе»

Если на уровне исторического рассмотрения Хайек классифицирует основные типы общества как «родовое» и «расчлененное», то на синхронном уровне он выделяет противостоящие друг другу понятия «таксис» и «космос». Под «таксисом» понимается волюнтаристски установленный строй, любой политический проект, подразумевающий общую цель коллектива, всенациональное планирование, решающую роль государства, управление экономикой и т. п. Для Хайека перечисленные признаки — реликты «родового строя». Напротив, слово «космос» обозначает «спонтанный строй»,

общество, проистекающее «естественным образом» из сугубо практической деятельности, существующее без определенной цели. Люди в таком обществе заняты исключительно достижением своих личных целей, необходимое согласование общественных сил определяется их взаимодействием. Таким образом, «космос» формируется спонтанно, независимо от человеческих намерений и проектов. Согласно известной формуле Адама Фергюсона, «он вытекает не из человеческого замысла, а из человеческого действия». Такое определение современного общества как непостижимого в своей основе приводит Хайека к отрицанию классической точки зрения о необходимости самой полной информации об участниках общественного соревнования, вовлеченных в него социально и экономически. Хайек отвергает идею об «открытости», «понятности» рынка, он утверждает, что, напротив, рыночная экономика есть нечто темное и непонятное; одни имеют больший, чем другие, доступ к информации. Предоставьте каждого самому себе, и пусть он достигает максимальных результатов, насколько ему это позволяют имущественные возможности. Утверждается отсутствие какого-либо рационального начала. Другая характерная черта «расширенного общества» — превосходство релевантной информации над информацией, доступной в настоящий момент; веру в возможность быть «полностью информированным» Хайек называет «синоптической иллюзией». Аргументация Хайека в этом вопросе такова: знание социальных процессов всегда ограничено, так как постоянно находится в процессе коллективного образования. Ни один человек, ни какая-либо группа не могут обладать доступом ко всей информации, и никто не может, таким образом, полагать, что «учел все факторы», тем не менее успех общественного предприятия основывается на предполагаемом знании релевантных факторов. Следовательно, для любого человека является выскомерным предпринимать действия, «выгодные для общества». Из эпистемологического аргумента Хайек выводит социо-

логическое заключение: определенное невежество является неизбежным, что не позволяет предсказывать последствия действий; следует с известным подозрением относиться ко всякого рода социальным прогнозам. Человек не может познать всего, поэтому лучшее, что он может сделать — это поставить себя на службу традиции, под которой Хайек подразумевает привычки, освященные уроками опыта.

Рынок — вот отличный ключ к системе. В обществе разобщенных индивидуумов торговля на рынке — единственно возможный вид социальной интеграции. В традиции либеральной мысли рынок представляется как абстрактный способ социальной регуляции, «невидимая рука», посредством которой проявляются объективные общественные законы, управляющие делами человека вне зависимости от любой политической власти. Социальный строй сливается с экономическим — ненамеренное следствие взаимодействия подвижных исключительно собственным интересом индивидуумов. В таких условиях рынок охватывает все поле социальной деятельности, являясь более не моделью человеческой активности, но ею самой. Рынок не принадлежит сфере чистой экономики (под которой Хайек подразумевал сферу элементарных экономических объединений — фирм и торговых домов), он становится глобальной системой для управления обществом. Рынок — уже не просто экономический механизм оптимального распределения дефицитных ресурсов, имеющий целью обеспечение благосостояния и счастья человека, он распространяется на сферы социологии и политики, где рассматривается как инструментальное обеспечение индивидуумам возможности свободно реализовывать их частные цели.

Определив основополагающие принципы «расширенного общества» в рамках рынка, Хайек обращается к идеологическому направлению, которому он противостоит, — «конструктивизму». Эта идеология, согласно Хайеку, основана на вере в иллюзорную возможность преобразования общества согласно какому-либо

проекту, убежденности в том, что общественные институты служат целям человечества, предназначены для их реализации. Но, коль скоро все знание с необходимостью ограничено по отношению к потенциальному релевантному знанию, конструктивизм переоценивает роль, которую «общественные инженеры» способны играть в управлении обществом. Архетипом конструктивизма в глазах Хайека является социализм, который узаконивает воскрешение родового строя. Успех социализма кроется в его апелляции к атавистическим инстинктам солидарности и альтруизма. Эта мысль приводит Хайека к выводу, что социализм включает в себе все формы «социальной инженерии» и, в конце концов, именно к нему сводится любое диктуемое политическими соображениями экономическое решение, каким бы оно ни было. Последователи теорий Декарта и приверженцы холистического, или органического, общественного устройства, контрреволюционеры и романтики, марксисты, фашисты, социал-демократы — все они виновны в конструктивизме, ибо верили в целесообразность и эффективность государственного вмешательства в управление экономикой и проведения социальных реформ. Итак, если вы планируете производство, апеллируете к солидарности, перераспределяете богатство, принимаете законы по охране окружающей среды, вводите социальные льготы и самые мягкие формы государственного протекционизма, контролируете финансы, вы виновны в «конструктивизме» и обречены, по логике Хайека, на полный провал. Хайек настаивает на отсутствии какой бы то ни было общественной солидарности в достижении определенной цели и обреченности любых попыток поиска в этом направлении.

«Абсурдность» социальной справедливости

Критика Хайеком социальной справедливости — одна из самых яростных среди всех, когда-либо существовавших. Хайек называет ее «миражом», «антропо-

морфной иллюзией», «онтологическим абсурдом», одним словом — полной бессмыслицей, за исключением случая родового общества. То, что Хайек называет рынком, определяется как общественная игра. Ее правила беспристрастны и в равной степени действительны для всех. Все игроки равны, но не все выиграют; общество состоит из выигравших и проигравших. Его нельзя определить как «справедливое» или «несправедливое», ибо никто не знает, каковы будут последствия его действий. Поскольку общественная игра не была никем задумана, то никто и не ответственен за ее результаты. Говорить о «несправедливости безработицы» столь же абсурдно, как сожалеть, что он, а не ты выиграл в лотерею. Как справедливое или несправедливое может оцениваться только само поведение, но никак не его результаты. Никто не должен отвечать за неудачи другого. Невезение лежит в самой природе вещей, и глупо восставать против него.

Союзы должны уйти

Как мы убедились, для Хайека требование социальной справедливости нереально и нелепо, а попытка ее установления — нонсенс, который приводит к разрушению правового государства. «Новый философ» Ф. Немо, ученик Хайека, утверждал, что социальная справедливость «глубоко аморальна». Традиционное представление о справедливом, пропорциональном распределении обречено на поражение, так же как и идея об обществе, солидарном с принципом общей пользы. Это «примитивные родовые требования». Общественной солидарности во имя идеи общего блага нет места в модели общества Хайека, из которой исключено даже равенство возможностей, ибо оно ликвидирует различия между «игроками» и искажает эффективную работу общества. Союзы должны уйти, они «несовместимы с основополагающими принципами общества свободных людей». Те же, кто заявляет, что

им чуждо общество потребления, являются для Хайека «неприрученными, нецивилизованными» людьми.

Теория, согласно которой рынок никогда не является несправедливым и «всегда прав», принцип «всё — для лучших» не позволяют никому критиковать результаты действия свободной рыночной экономики. Только к самим себе мы должны обращать похвалы и упреки; когда обстоятельства — против нас, мы не имеем никакого права перекладывать вину на кого-либо другого. Эта апология успеха отрицает общепринятое понятие справедливости, ибо успех оправдывает сам себя. Кроме того, это отличное средство от угрызений совести у «выигравших» и чувства морального протеста у «проигравших». Теория Хайека теоретически обосновывает безразличие к нищете. Хайек писал, что наиболее чистая форма человеческой этики — утверждение в качестве основной задачи человека преследования наиболее эффективным образом свободно выбранной цели без оглядки на то, чем чревато это преследование для остальных людей. Рынок Хайека замещает Левиафана. Эта точка зрения является в высшей степени антиполитической, ибо она утверждает спонтанное возникновение общественного строя и отсутствие каких-либо проектов его переустройства; исторические процессы не должны быть никому подчинены. Для Хайека, так же как и для Адама Смита, роль рыночных сил заключается в том, чтобы сделать государство лишним. Источником власти становится не государство, а закон, и только власти закона нужно подчиняться. Панегирик Хайека всеобщему закону призван подчеркнуть, что закон как таковой превосходит любое законотворчество и что законное государство характеризуется властью законов, а не властью людей, что уже отмечал Локк. Политикам в такой ситуации отводится роль наблюдателей за экономикой, блюстителей порядка и защитников закона. Хайек резко отрицает независимость и неограниченность власти. Лучшее общество — общество без лидера. Из идей Хайека следует, что любая политическая

власть должна быть отвергнута как несовместимая с обществом свободных людей.

Отрицание национальной независимости

Демократия определяется Хайеком в исключительно правовых терминах; этот тезис лишает ее всякого глубинного содержания. Как и рынок, демократия представляется им как поле действия безличных сил. Хайек критикует также принцип правления большинства как противоречащий принципу индивидуализма. Эта концепция отрицает понятие народа как органического целого, идею национальной независимости и какие бы то ни было надежды на прямую демократию. Как мы уже убедились, критика Хайеком «конструктивизма» напрямую связана с его представлением о социальном спектре как реальности, о которой ни один человек не способен получить полного представления. То, что человеческая информация о нем всегда бывает неполной, не подлежит сомнению, но прав ли Хайек в своих выводах из этого утверждения? Начнем с того, что «замкнутый родовой строй» не так уж и замкнут, как кажется Хайеку, хотя его параметры, безусловно, являются более ограниченными. Понятие «неполной информации» будет всегда существовать в обществе. Невозможно подвергнуть сомнению и то, что многие общественные факторы не являются сознательно принятыми проектами, но суть последствия серии взаимодействий. Более того, никто не станет отрицать, что существует зачастую огромная разница между проектом в теории и на практике. Однако это вовсе не означает, что невозможно предпринять определенные общественные или политические действия или переустроить общество согласно избранной цели, и уж совсем не обязательно, чтобы все попытки улучшить социальные условия были обречены на то, чтобы только ухудшить их. Хайек доказывает, во-первых, что «конструктивизм» есть сугубый рационализм, который рассматривает акт человеческой воли как технический

объект. На самом же деле человеческое поведение редко исходит из трезвой оценки всех «за» и «против». Далее Хайек делает вывод, что принятию человеком политического решения должно предшествовать знание всех аспектов проблемы, что необходимо для точной оценки результатов. Этот довод выдает неспособность Хайека адекватно оценить то, что принятие решений — не прямолинейный, а гибкий процесс, включающий стадии адаптации и реакции. Как отмечал Ж. Роллан, маловероятно, чтобы любое научное, техническое, экономическое, политическое, общественное предприятие в истории человечества основывалось на полном предварительном знании всех релевантных факторов; крайне важным аспектом является осмысление людьми их начинаний. Ахиллесова пята критики «конструктивизма» — непонимание того, что вопрос не в «справедливости» или «несправедливости» невыносимой ситуации, а в том, каким образом ее разрешить. Должны ли мы отказываться от спасения утопающего, аргументируя это тем, что «никто не ответственен» за опасность, которой он подвергается?

Обреченность всех политических проектов

Хайек доказывает, что человек не способен преобразить среду, так как не является «всезнающим». По Хайеку, человек мог бы устанавливать справедливые законы, если бы у него была возможность начать с абсолютной *tabula rasa* в обществе. Но поскольку такой возможности у него нет, он должен принимать общественный порядок (или беспорядок) таким, какой он есть. Вот почему все политические инициативы по переустройству общества кажутся Хайеку абберрацией, обреченным на провал вмешательством в действия общества. Доводя до логического конца присущую всей либеральной мысли враждебность по отношению к любой политической автономности, Хайек отрицает само понятие политического проекта. Он старается навязать всем ощущение политической импотентно-

сти, отказывая сфере политики в энергии и пассивности. Идеи Хайека на политическом уровне провозглашают инертность и способствуют худшему виду консерватизма. Сказать, что рынок не является ни справедливым, ни несправедливым, — значит эффективно расположить его по ту сторону зоны действия критики, превратить в своего рода бога. Но что самое главное — человек не должен воплощать свои внутренние ценности в обществе; скорее ему следует увидеть в самом обществе систему ценностей, которая позволит ему успешно в нем оперировать. Следует различать его дело и дело общества; лучшее общество — то, где нет людей, занимающих себя вопросом о направлении социального развития. Таков итог «автономности индивидуума» по Хайеку: как только человек освобождается от каких бы то ни было социальных обязательств, он теряет возможность участвовать в различного рода проектах в союзе с другими людьми. «Человек никогда не будет господином своей судьбы», — настаивает Хайек. Он может делать все что вздумается, но ни в коем случае его желания не должны переходить в социальную плоскость. Согласно Хайеку, общество нормально функционирует лишь тогда, когда никто за него не ответственен; человеческая свобода, реализованная в никем не контролируемом обществе, по существу означает бессилие и покорность человека обществу, которое дало ему его свободу: вот она, свободная рыночная экономика! Другими словами, человеческая свобода может существовать только тогда, когда человек подчиняется ей, когда его социальный выбор отрицается. Не будет преувеличением сказать, что теории Хайека лишают человечество самих человеческих качеств, ибо если что и отличает человека от остальных животных, так это его способность задумывать и осуществлять коллективные проекты. Лишая человека возможности коллективной реализации в истории, Хайек, по существу, отбрасывает нас в «предродовую» эру чистой животности. Как замечает Жиль Леклерк в своей книге «Вчерашний день либерализма»,

«либерализм — в сущности, доктрина тонкого тоталитаризма». Ясно также, что в модели общества Хайека нет места для традиции. По сути дела, он попросту использует это понятие в своем стремлении проторить человеку дороги в мире свободной экономики. Традиция в глазах Хайека не имеет никакой иной ценности, кроме как указывать путь к неперсональному и абстрактному порядку, воплощенному в рынке; все остальное, имеющее отношение к традиции, отрицается. Кроме того, существует ясное противоречие между традицией, которая, по определению, социально уникальна и является единственной в своем роде, и теми сугубо универсалистскими принципами, которые Хайек предлагает человечеству. Теперь, когда все признают, что современный Запад — это серп, нацеленный под корень традиции, ясно, что за благосклонной апелляцией Хайека к «традиции» кроется нечто другое, а именно — стремление пресечь какую бы то ни было традицию.

Эмиль Мишель Чоран
ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР⁴⁵
Очерк реакционной мысли

Жозефу де Местру принадлежит не последнее место в ряду мыслителей, которые, подобно Ницше и апостолу Павлу, имели особый талант смутьянов. Каждую мелочь он возводит в ранг парадокса, превращает в источник соблазна, с жестоким рвением ниспровергает все и вся, а потому неудивительно, что построенная им полная несуразностей система по сей день притягивает и возмущает нас. Как вдохновенны и красноречивы его инвективы, как пламенно он отстаивает самые нелепые воззрения, как упорно защищает несправедливость, как умеет найти убийственные слова — неистовые полемисты не препираются с противником, а уничтожают его на месте сокрушительным эпитетом. Убеждения его непоколебимы и неуязвимы для скептических нападок, которые он отражал с высокомерной предвзятостью и презрительным догматизмом.

В конце прошлого века, в эпоху расцвета либеральной иллюзии, было позволительно называть его «провидцем минувшего» и считать своего рода пережитком или аномалией. Мы же, современники тотального отрезвления, видим, как близок нам этот «монстр», более того, понимаем, что он актуален и интересен именно тем, за что его поносили. Но даже ус-

⁴⁵ Фрагмент книги «Упражнения в славословии» (*Exercices d'admiration*, 1986). Перевод с французского Натальи Мавлевич.

тарей он, все равно был бы по праву причислен к плеяде незаурядных умов.

Кому еще удавалось так талантливо сбить с толку и хулителей, и сторонников, заставив тех и других гадать: действительно ли он восхвалял войну и кровавые меры или только признавал их необходимость? Выразил в нападках на Пор-Рояль свои сокровенные мысли или поддался настроению? Где кончается философия и начинается пропаганда? Кем, в конце концов, он был: циником, энтузиастом или же ударившимся в католицизм эстетом?

Быть столь категоричным и поддерживать это озадачивающее, двойственное впечатление — какой головомомный трюк! Поневоле задумаешься, насколько неподделен его фанатизм, вспомнишь, как порой он сознательно обуздывает свою резкость, пристально взглядишься в редкие случаи, когда он рассуждает в согласии со здравым смыслом. Можно ли счесть это за умеренность — о нет, не станем оскорблять де Местра! Разве хватило бы у нас терпения читать его, если бы он не раздражал нас каждую минуту? Истины, которые он проповедует, интересны лишь тем, как он умеет безжалостно извратить их. В его устах обретают свежесть заезженные положения катехизиса и навязшие в зубах поучения Церкви. Он знал или чувствовал, что религии губит ординарность, и, спасая христианство, старался добавить ему остроты и жути. В этом ему больше помогал талант писателя, чем религиозное чувство, которое, по словам хорошо знавшей его г-жи Свечиной⁴⁶, не было столь уж пылким. Мог ли он, обожавший испепеляющие речи, удовольствоваться вялым бормотанием молитв? (Проповедь-памфлет — что

⁴⁶ Свечина Софья Петровна (урожденная Соймонова; 1782—1857) — жена петербургского военного губернатора, под влиянием Ж. де Местра обратилась в католичество, в 1815 г. уехала в Париж, где стала хозяйкой известного светского салона.

ж, такое вполне возможно, хотя малопонятно.) Смирение совершенно чуждо его натуре, он изображал эту добродетель только тогда, когда вспоминал, что должен вести себя по-христиански. Некоторые толкователи упрекают де Местра в неискренности, между тем им бы не досадовать, а радоваться: не будь в нем противоречий, вольно или невольно допущенных двусмысленностей, он давным-давно был бы никому не нужен, позабыт, исчерпан до доньшка — а это худшая участь, которая может постигнуть писателя.

Суровостью и изяществом своего дарования, своего стиля он напоминает одновременно ветхозаветных пророков и мыслителей XVIII века. В нем соединяется несоединимое: пафос и ирония, исступление и остро словие, он увлекает нас туда, где космическое сопрягается с личным, безграничное уместается в салонном. Однако перед Библией он раболепен, безоговорочно восхищается в ней всем: и сокровищами, и хламом, — тогда как «Энциклопедию», от которой унаследовал склад ума и литературный слог, слепо порицает.

Его истошно негодующие книги никогда не надоедают. В каждом абзаце он превозносит или изничтожает ту или иную идею, то или иное событие или установление, переходя от прокурорских инвектив к воскурению ладана. «Если французу нравится янсенизм, значит, он или глупец, или янсенист». «Во Французской революции все на диво дурно». «Протестантизм — самый страшный для Европы враг, которого следует обезвреживать всеми законными средствами, язва, разъедающая и неуклонно губящая все без исключения державы, исчадье гордыни, отец анархии, всеразлагающее начало — все это протестантизм». «Прежде всего, испанские суды — самые справедливые, самые ученые и самые неподкупные, если же к этим похвальным качествам прибавить святость католической церкви, без всякого практического подтверждения станет ясно, что в мире не может быть ничего более

уравновешенного, беспристрастного и человеколюбивого, чем суд Великой Инквизиции».

Кто не искушен в манипулировании крайностями, тот быстро освоит эту науку под руководством де Местра, с одинаковой легкостью компрометирующего то, что любит, и то, что ненавидит. Его книга-дифирамб «О Папе» полна столь неумеренных похвал, что сам понтифик убоился, как бы такая услуга не навредила ему. Только так и надо хвалить: чтобы внушить тому, кого восхваляешь, ужас, трепет и желание спрятаться куда подальше от воздвигаемого ему монумента; чтобы с помощью безудержной лести принудить его оценить свою посредственность и устыдиться ее. Куда годится панегирик, который не колет и не смущает, похвала, которая не разит наповал? Нет, настоящая апология должна быть убийственной.

«Человек незаурядный всегда склонен прибегать к преувеличениям», — писал де Местр, вероятно, имея в виду самого себя. Характерно, что в его письмах мы не встретим резкости и даже оголтелости, какая свойственна его произведениям. Когда переписка была опубликована, все поразились: кто бы мог ожидать от ярого догматика такого благожелательного тона? Теперь же, по прошествии времени, это изумление кажется несколько наивным. Вполне естественно, что писатель неистовствует на страницах книг и сохраняет здравый смысл в приватном общении и что он бывает гораздо безжалостнее и неумолимее, когда обрушивается на некую теорию, чем когда беседует со знакомым или другом. Когда имеешь дело с идеей, чувство меры теряется, рассудок замутняется и начинаешь мнить себя всемогущим. Такой поединок — прямой путь к безумию и мании величия. Все наши отклонения и помешательства — от того, что мы боремся с мнимостями, абстракциями, стремимся одержать верх над несуществующим; этим объясняется присущий философским, да и любым другим сочинениям элемент абракадабры,

деспотизма, невнятицы. Когда мыслитель строчит на бумаге, не обращаясь к кому-то конкретно, он воображает себя вселенским судьей. Если же пишет письмо... здесь он, напротив, говорит о своих желаниях, слабостях и ошибках, становится куда мягче, перестает надрываться. В письмах де Местр — человек вполне сдержанный. Некоторые, увидев его с другой стороны, обрадовались и поспешно приписали ему широту взглядов, забыв, что он как раз потому мог проявлять терпимость в жизни, что она начисто отсутствовала в его творчестве: лучшие его страницы — те, где воспеваются пороки Церкви и произвол Власти.

Не случись революции, которая сломала привычный образ жизни, потрясла де Местра и повернула лицом к основополагающим вопросам, он так и жил бы в своем Шамбери, порядочным семьянином и франкмасоном, продолжал бы сочинять в том же духе, в каком написаны его первые работы, где католицизм, роялизм и мартинизм чуть сдобрены руссоизмом. Но французская армия, завоевав Савойю, заставила его покинуть родные места и принять долю изгнанника, от чего много выиграли его ум и стиль. Это особенно заметно, если сравнить «Рассуждения о Франции» с рыхлыми, велеречивыми произведениями дореволюционного периода. Несчастье укрепило его взгляды и предрассудки, спасло от прозябания и навсегда лишило хладнокровия и объективности — качеств, столь редких среди эмигрантов. Ибо Местр превратился в эмигранта и оставался им даже в те годы (1803—1817), когда выполнял при русском дворе в Санкт-Петербурге обязанности посланника короля Сардинии. Печатью изгнанничества отмечены все его мысли. «Наш мир — сплошное насилие; современная философия внушает нам, будто все на свете — благо, на самом же деле все замарано злом и было бы гораздо вернее сказать, что все на свете — зло, ибо все сдвинуто со своих мест».

«Все сдвинулось со своих мест» — извечный рефрен эмигрантов, а также исходная точка философских размышлений. Наш ум пробуждается, когда сталкивается с бесчинством и несправедливостью; все, что пребывает «на своем месте» таким, как должно, нисколько не волнует и даже притупляет его, тогда как лишения и скитания живительны и плодотворны. Мыслитель богат тем, что теряет, что у него отнимают, и воистину осчастливлен потерявший родину! Вот почему любой изгнанник, раздираемый надеждой и страхом, с замиранием сердца ждущий событий, которые предвидит и которых опасается, — в силу обстоятельств делается пусть скромным, но философом или прорицателем. Если он даровит, как де Местр, то поднимается над этими событиями и истолковывает их: «...первая забота — уничтожить все, что могло ее [революцию] предотвратить, и задавить все, что может ей воспротивиться впредь. Но никогда не обнажаются столь очевидно законы миропорядка и не проявляется столь внятно Провидение, как в моменты, когда божественная воля отесняет человеческую и действует сама. Один из таких моментов мы сейчас переживаем».

Когда история доказывает тщетность всех людских начинаний, мы отождествляем судьбу то с Провидением (а что это, как не более безобидное наименование рока, замаскированное поражение, признание своего бессилия сконструировать будущее вместе с желанием разглядеть его хотя бы в общих чертах и найти в нем смысл), то с игрой безликих механизмов, управляющих нами во всем, от поступков до верований. Однако, при всей безликости и механистичности этой игры, мы невольно приписываем ей свойства, которых она начисто лишена, превращая абстрактные понятия в мировые стихии, возводим ее в некую нравственную силу, ответственную за развитие событий и их последствия. Разве самые отъявленные позитивисты, говоря о будущем, не прибегают к религиозной терминологии и не наделяют его почти таким же могуществом, как

Провидение? Это лишний раз доказывает, что, желая представить связную картину мира, мы неизбежно и закономерно вносим в свои рассуждения привкус богословия.

Усматривать в историческом процессе некую целесообразность и переносить ее как нечто имманентное на будущее — значит в более или менее откровенной форме признавать Провидение. Поэтому Боссюэ, Гегель и Маркс, приписывающие событиям некий смысл, родственны или, по крайней мере, не сильно отличаются друг от друга; ведь главное не в том, как этот смысл определяется и формулируется, а в том, что он вообще предполагается и служит ориентиром. А это именно так во всех трех случаях. И значит, все три системы: теологическая, метафизическая и материалистическая — просто разновидности веры в Провидение. Если мы усвоим такой взгляд на идеологические и философские учения, то увидим, что люди, выбиравая между ними, не прикладывают особых интеллектуальных усилий. Сторонники одного считают, что сильно отличаются от сторонников другого, на самом же деле, едва примкнув к любой из сторон, они оказываются соединенными общим корнем, объединенными общей природой, а все различия — чисто внешние, не более чем маски — кому какая подойдет. Смешно думать, что истину можно найти путем выбора позиции — сам этот путь уводит от нее. На нашу беду, мы все обречены на такой выбор, каждый должен облюбовать себе одну из иллюзий, согласиться с одной из ошибок, наши убеждения вынуждены, обусловлены внутренним изъяном, хроническим недугом, и принадлежность к партиям и школам — его симптом. Склонность заражаться чем бы то ни было — болезненный признак, ибо залог здоровья и спасения в том, чтобы оставаться незараженным и чистым... как вакуум. Вернемся, однако, к Провидению, предмету почти столь же туманному... Хотите знать, насколько сурова была та или иная эпоха и насколько страшные тяготы при-

несла с собой? Об этом можно судить по степени упорства, с которым верующие стараются оправдать превратности судьбы, пути и замыслы Божественного Промысла. Неудивительно поэтому, что главное произведение де Местра «Санкт-Петербургские вечера» тоже развивало тему подвластности земной жизни Провидению — ведь и он жил в такое время, когда доказать людям, что Господь милостив к ним, можно, лишь пустив в ход весь арсенал веры, ума и хитрости. Сходной целью задавался живший в V веке в захваченной варварами Галлии писатель Сальвиан: его труд «De gubernatione Dei» («О власти Господа») — безнадежная попытка опровергнуть очевидное, обреченная затея, умственные построения на химерической основе... Оправдание Провидения — это донкихотство от теологии.

Однако чуткость к вмешательству судьбы связана не только с переживаемым моментом, но и со свойствами личности. Когда приходится участвовать в делах чрезвычайной важности, каждый из нас понимает свое бессилие перед обстоятельствами. Лишь самые легкомысленные, «безответственные» люди считают, что действуют свободно; прочие же, умудренные опытом, смиряются с тем, что ими руководит необходимость, или «звезда». Сен-Мартен⁴⁷ видел в правителях приказчиков Провидения, а Фридрих Майнеке⁴⁸ писал, что у Гегеля герои всегда выглядят простыми служащими Абсолютного Духа. Им вторит и де Местр, называя вождей революции «автоматами», «орудиями», «преступниками», которые вовсе не распоряжались тем, как протекают события, а, наоборот, были подхвачены этим бурным течением.

⁴⁷ Сен-Мартен Луи-Клод де, псевдоним — «Неизвестный Философ» (1743—1803) — французский мыслитель, масон, пропагандист Сведенборга.

⁴⁸ Майнеке Фридрих (1862—1954) — немецкий историк.

Но чем же эти орудия, автоматы виновнее «высшей» силы, которая их подстрекала и чью волю они верно исполняли? Разве она не столь же «преступна»? Для де Местра эта сила была единственной незыблемой скалой в революционной «буре», поэтому он не обвиняет ее или, по меньшей мере, ведет себя так, будто безоговорочно подчиняется ей. Однако, по его представлениям, высшая сила ярче всего проявляет себя в трагические времена, в периоды же затишья отступает, так что он усматривает ее в разных, по видимости случайных, происшествиях, послуживших причиной катастроф, и считает излишним прибегать к ней в межгрозовых промежутках, когда устают кипеть страсти. Ставя высшую силу в зависимость от времени, де Местр уменьшает ее значимость. Ибо мы готовы признать ее справедливость, лишь если она присутствует всегда и во всем и бодрствует непрестанно. Разве до 1789 года она дремала? Разве не делала свое дело в течение всего XVIII века, и не продукт ли ее деятельности сам этот век, на который де Местр, вопреки собственной теории божественного вмешательства, возлагает ответственность за кровавый разгул гильотины?

Для него же эта сила обретает вес и становится Провидением в полном смысле слова, когда происходит чудо, то есть революция: «Если посреди зимы кто-нибудь перед тысячей свидетелей велит дереву в один миг покрыться листьями и плодами, и дерево повинует, все возопят о чуде и склонятся перед чудотворцем. Но Французская революция и все, что за ней последовало, в своем роде не менее чудесны, чем дерево, принесшее плоды в январе...»

Перед лицом всемогущей силы верующему не так легко сохранить свободу воли, избежать искушения упасть в квиетизм или, что еще хуже, в фатализм. Об этих трудностях автор «Рассуждений» говорит на первых же страницах и пытается разрешить их, пускаясь в ухищрения и двусмысленность: «Все мы прикованы

к трону Верховного Существа гибкой цепью, она удерживает, но не порабощает нас. Самое удивительное в мировом порядке как раз и есть деяния свободных, но остающихся в руце Господней людей. Свободные рабы, они действуют одновременно по доброй воле и по необходимости: совершают то, чего желают сами, не нарушая вселенского замысла».

«Гибкая цепь», «свободные рабы» — эти сочетания противоположностей выдают замешательство автора, которому трудно совместить всемогущество Бога и свободу человека. Вероятно, именно для того, чтобы спасти эту свободу, дать ей побольше места, де Местр и изобретает теорию о невмешательстве Божьего Промысла в периоды равновесия. Эти периоды оказываются лишь краткими промежутками, ибо Провидение не любит долго отдыхать и то и дело прорывается вспышками гнева. Ну а безраздельная его «вотчина» — это война. Тут уж человеку отведена роль «чуть ли не заводной куклы — ведь военный успех более всего зависит от вещей, менее всего зависящих от человека». Война «божественна», равносильна всеобщему закону. «Божественна» уже по тому, как возникает. «Наступает минута, которую подготовили люди и которой требует справедливость, когда является Господь и творит возмездие за все, что учинили против него смертные».

Эпитет «божественный» де Местр применяет не слишком щедро. «Божественными» он нарекает конституцию, государство, наследственную монархию, папство и другие освященные традицией и восходящие к далекому прошлому установления. Все остальное — жалкое самозванство, «человеческие измышления». В общем, это слово относится ко всему тому, что претит свободолюбию. Все же к войне оно, на первый взгляд, никак не подходит, но поставьте вместо него синоним — назовите войну «иррациональной», и недоумение исчезнет. Подобными заменами легко смягчить многие вопиющие места у де Местра, но не сде-

ает ли это пресным писателя, который хлесткостью своей и хорош? Так или иначе, мало-мальски разумного, способного трезво и критически мыслить верующего не может не покоробить, когда постоянно упоминаемое имя Бога применяется к кровопролитию, фанатику же — а он-то и есть самый настоящий верующий, — наоборот, кровавое божество весьма по вкусу.

Божественная или нет, война под пером автора «Вечеров» всегда в известной мере привлекательна. У второстепенного же мыслителя, такого как Доносо Кортес⁴⁹, испанский ученик де Местра, от этого обаяния нет и следа. «Война, — пишет учитель, — хороша, поскольку исходит от Бога, однако война может быть несправедливой и пагубной, поскольку исходит также от свободного человеческого выбора». А вот слова ученика: «...как можно предавать анафеме войну? Такая анафема противна философии и религии, произносящий ее — не философ и не христианин».

206

Мысль учителя уже облечена в крайнюю форму, а потому дополнительный нажим, который вносит ученик, излишен. Чтобы отстаивать скандальную позицию, требуется яркий талант и темперамент. Никакой ученик в принципе ни тем, ни другим обладать не может.

Агрессия — вдохновение Местра, страсть к гиперболе — его врожденное свойство. Любитель крайностей, он гонит к краю и нас, понуждая сочувствовать войне, одиночеству палача и даже самому палачу. Христианин по убеждениям, а не по сердцу, Местр далек от духа Евангелия, втайне ему сродни буйное изуверство, он в своей стихии, когда непримирим. Поэтому-то он и уловил так точно суть революции. Разве мог

⁴⁹ Доносо Кортес Хуан, маркиз де Вальдегамас (1809—1853) — испанский политический деятель и публицист, приверженец монархии, католический традиционалист.

бы он описать все ее пороки, если бы не обладал ими сам? Борьба с идеями, явлениями, эпохой не проходит даром, враг террора, желая победить его, неминуемо заражается и проникается им. Религиозное чувство Местра подтверждает это: в нем преобладает жажда крови. Ветхозаветный Бог («Бог — ревнитель») понятней ему, чем Христос, о котором он всегда говорит затверженным «возвышенным» языком и упоминает чаще всего в доказательство любопытной теории о том, что муки невинных всегда идут на пользу виновным. Наверное, по нраву Местру был только Христос испанских Распятый — окровавленный, скорченный в агонии и бесконечно счастливый своим страданием.

Поместив Бога за пределы человеческой вселенной, лишив его возможности обнаруживать свое присутствие и власть, дейсты умалили Господа до символа, идеи, абстракции, аллегории добра и мудрости. Местр же, возвысив голос после целого века «философствования», попытался восстановить его в древних правах и вернуть звание тирана, которого его так безжалостно лишили. Добрый и справедливый Господь, не внушая больше страха, терял власть над умами и душами. Местр острее своих современников ощущал эту опасность и боролся как мог за реставрацию «подлинного» Бога, гневного и ужасного. Полагать, будто капризное, злое и даже свирепое божество возмутит людей, значит ничего не смыслить в религии или в человеческой натуре — ведь человек любит, страстно любит страх. Проблема зла всерьез тревожит лишь немногих впечатлительных скептиков, их возмущает то, как приспособляются к ней или увиваются от нее верующие. К этой горстке и обращены все теодицеи, пытающиеся сделать Бога человечнее, — безнадежные акробатические построения, которые рушатся при первом столкновении с житейским опытом. Напрасно доказывают они справедливость Божьего Промысла, оппоненты обвиняют, требуют отчета, вызывают к очевидности: зло существует! Но именно эту очевидность

и пытается отрицать Местр. «Весь мир — зло», — учит он и тут же спешит заявить, что зло — разрушительная сила «в чистом виде», «никак не связанная с сущим», что оно — «раскол бытия», несчастная случайность. Однако есть и другое мнение: зло вовсе не второстепенное явление, а столь же присущий бытию и столь же неотъемлемый его компонент, как добро, и если исключить его из состава божественной материи, то проблемы, которые подняты им, становятся неразрешимыми. Как болезнь не просто отсутствие здоровья, а некое столь же подлинное и длительное, как здоровье, состояние, так и зло равноценно добру, больше того, порой оно его превосходит устойчивостью и полнотой. Добро и зло сосуществуют и сливаются в Боге точно так же, как они сосуществуют и сливаются в жизни. Мысль о виновности Бога вовсе не безосновательна, она прекрасно сообразуется с его всемогуществом, иначе невозможно разобраться в ходе истории, со всем его уродством, безумием и смехотворностью. Приписать создателю мира чистоту и доброту значит намеренно закрыть глаза на смысл исторических событий, и, в частности, самого главного из них: Творения. Когда Бог решил нарушить наскучивший ему штиль самодостаточности, выйти за пределы самого себя и, унизившись, распространиться во времени, Он никак не мог обойтись без посредства зла, служащего пружиной всех деяний. Зло — генератор нашей энергии, уберите его — и нам останется прозябать в унылом совершенстве добра, которое, судя по Книге Бытие, приелось и самому Творцу. Борьба между добром и злом присуща всем уровням жизни, в том числе и вечной. Мы вовлечены в авантюру Творения, весьма опасное, лишённое моральных целей, а возможно, и смысла предприятие. Замысел и исполнение принадлежат Господу, мы не ропщем — он нас устраивает как зачинщик и главный виновник. Сделав нас своими соучастниками, он приобщил нас к круговой поручке зла, которая обеспечивает и поддерживает нескончаемую вселенскую смуту.

Само собой разумеется, Местра не привлекла бы эта в высшей степени разумная точка зрения. Он взялся придать правдоподобие все той же дерзкой доктрине об изначально и беспрельдно добром Боге. Задача нелегкая, если не сказать неосуществимая, но Местр понадеялся справиться с ней, взвалив всю вину на человеческую природу: «...неправда, что в земном мире за добродетель воздается страданиями. Если добродетельного человека настигает кара, то не как праведника, а как человека, и это всегда справедливо».

Но как может праведник сам себя разделить на ипостаси? Вряд ли ни в чем не повинный человек скажет: «Я страдаю, потому что я человек, а не потому, что я хороший». Это невозможно психологически. Взгляните на Иова: измученный, в язвах и струпьях, он отступает перед Богом не по убеждению, а от усталости. Похоже, что и в голову Местра по временам закрадывается вопрос: почему же Бог несправедлив к человеку? Нет ли над ним самим иного, наивысшего законодателя, диктующего ему свою волю? И кто будет судьей между ним и нами? «Чем грознее будет нам казаться Бог, тем больше в нас будет страха Божия, тем пламеннее и неустаннее мы станем молиться, потому что не посмеем надеяться на его доброту», — пишет он, а в одном из самых рискованных мест «Вечеров» с неосмотрительной прямоотой прибавляет: «Поскольку существование Бога открывается нам прежде, чем его качества, мы знаем, что он есть, и не знаем, каков он. Стало быть, мы подданные царства, где все подчинено раз и навсегда установленным законам правителя. В целом, законы эти отмечены мудростью и добротой, однако некоторые из них все-таки могут (по крайней мере иногда) быть суровыми и даже несправедливыми, и вот я спрашиваю недовольных: что же делать? Покинуть это царство? Невозможно. Оно повсюду, и, кроме него, ничего больше нет. Стенать? Возмущать-

ся? Жаловаться на правителя и обречь себя на бичевание или смертную казнь? Разумнее всего смириться и взрастить в себе уважение, а лучше любовь. Ведь мы полагаем, что правитель существует, и мы обязаны служить ему, каков бы он ни был, так не разумнее ли делать это с любовью?»

Неожиданное признание. Вольтер пришел бы от него в восторг: тот, кто превозносил благой Промысел Божий, вдруг его разоблачил, ослабил и взял под сомнение. Местр и сам понял опасность своего восхитительного прямодушия. В дальнейшем он забывается все реже и реже; как полагается, винит во всем человека и осуждает попытки вчинить иск Господу Богу, в чем бы это ни выразалось: в бунте, насмешке или отчаянии. А чтобы было удобнее взвалить на самого человека вину за все страдания, которые он претерпевает, Местр создает нелепейшую теорию о нравственной причине болезней, вменив в вину людям страдания, которые те претерпевают: «Не будь на земле моральных недугов, не было бы и физического», «всякая боль — наказание за грех, первородный или свершенный ныне». «Я не делаю различия между недугами, ибо все они — испытительные наказания».

Местр строит свою теорию на доктрине о первородном грехе, без которой, как он считает, «невозможно ничего объяснить». Но он ошибается, считая грех как таковой некоей аварией, случившимся в незапамятные времена сбоем; куда вернее было бы говорить об изначальном изъяне. Ошибается он и тогда, когда приписывает, по его собственному удачному выражению, «первородный недуг» нашему беззаконию; на самом деле этот недуг, как и грех, — наше сущностное свойство, врожденный дефект, бич, поражающий без разбора добрых и злых, праведных и порочных.

Местр верно описывает наши беды, но запутывается, пытаясь объяснить их и узреть высшую справед-

ливость в том, как они распределяются. Наблюдения его точны, а вот истолкования и оценки бесчеловечны и нелогичны. Если бы болезни и впрямь были карой, как он упорно твердит, то больницы были бы наполнены извергами, а неизлечимыми болезнями страдали бы только самые страшные преступники. Но уйдем свой полемический задор. Будем снисходительны к тем, кто, желая обелить Бога, сделать его ни к чему не причастным, предоставляют честь быть источником зла лишь человеку. Как все великие идеи, идея грехопадения объясняет все и не объясняет ничего, без нее трудно обойтись, но и применять ее тоже трудно. Однако чему бы ни приписывалось грехопадение: проступку или неизбежности, нравственному критерию или метафизическому закону, — выходит, что оно, хотя бы частично, объясняет наши заблуждения, неудачи, бесплодные поиски, ужас одиночества, роль смутных, смысленных, но свихнувшихся животных, которую отвели каждому из нас. При множестве спорных моментов, эта теория важна тем, что показывает нашу ущербность как следствие отпадения от целого. От Местра это не ускользнуло. «Чем внимательнее исследуешь вселенную, тем отчетливее видишь, что причина зла в нашем отщепенстве, которое трудно объяснить, возвращение же к благу обусловлено противоположной силой, которая неустанно толкает нас к столь же мало-понятному единству».

Так как же объяснить это отпадение? Что это было: импульс становления? Первое движение, нарушившее покой? Или роковой толчок, поколебавший царившее до начала времен блаженство цельности? Неведомо. Так или иначе, «история» начинается с распада тождества, с изначальной трещины, послужившей неоспоримым источником множественности, источником зла.

Идея греха вкупе с идеей отпадения может быть убедительной, если пользоваться ею с осторожностью, не так, как Местр, выдумавший по собственному про-

изволу первородный грех «второго порядка», вследствие которого появились дикари, «потомки человека, отлученного от древа цивилизации за некий проступок» и павшего. Глядя на этих потомков, «невозможно не увидеть печати проклятия, которая исказила не только их души, но даже их тела»; «пораженные в самых глубинах своего духовного бытия», они ни в чем не подобны первозданным людям, ибо «мы со своим умом, моралью, науками и искусствами так же соотносимся с первозданными людьми, как дикари с нами».

Наш автор вновь доходит до крайности и утверждает, что в некотором смысле «цивилизация и наука свойственны естественному, первичному состоянию человечества». Первозданные люди, «великолепные» существа, будто бы начинали с науки более совершенной, чем наша, в причинах прозревали следствия и обладали «драгоценными познаниями», которые передавали им «существа высшего порядка», более того, некоторые народы, не усвоившие нашего образа мыслей, похоже, сохраняют и до сих воспоминания о «первозданной науке» и «эре интуиции».

Итак, цивилизация предваряет историю! Такое благоговение перед исконным, тоска по утраченному раю на земле, культ истоков и есть признак «реакционной» или, если угодно, «традиционалистской» мысли. Конечно, можно представить себе «эру интуиции», но она не имеет ничего общего с цивилизацией, которая, отойдя от интуитивного знания, предполагает весьма сложные отношения познания и бытия, а также неспособность человека выйти за рамки собственных мыслительных категорий, неумение одновременно воспринимать близкое и отдаленное, — человек «цивилизированный», по определению, отчужден от всеобщей сущности. Говорить о совершенной цивилизации прежде, чем возникли условия для ее существования, включать в нее золотой век — значит играть словами и

незаконно расширять само это понятие. Согласно Местру, история посредством очищения от греха и зла должна вернуть нас к райской гармонии, к совершенной цивилизации и тайнам первозданной науки. Узнать, в чем состоят эти тайны, нечего и мечтать, Местр объявляет их недостижимыми, они — удел столь же недостижимых «совершенных» людей. Каждую свою гипотезу Местр преподносит как достоверность: да и как может он сомневаться в существовании наук в незапамятные времена, если без них ему бы никак не «объяснить» первую по счету нашу катастрофу? Поскольку же кара пропорциональна познаниям виновных, то потоп, как полагал Местр, свидетельствовал о «неслыханных преступлениях», преступления же, в свою очередь, — о познаниях, «во много раз превосходящих все, чем располагаем мы». Теория столь же замечательная, сколь и невероятная, но она стоит теории происхождения дикарей, которая излагается следующим образом: «Некий вождь изуродовал свою душу злодеяниями, какие сейчас, видимо, невозможны, потому что мы, к счастью, слишком невежественны для таких провинностей, — проклятие вождя перешло к потомкам; а так как любая постоянно действующая сила приобретает ускорение и превращается в лавину, то непрерывная деградация в конце концов привела к появлению тех, кого мы называем дикарями».

Ни слова о том, что это были за злодеяния. Мы ничего о них не узнаем, кроме того, что они — новый вариант первородного греха. Не правда ли, удобная позиция: обеляя Творца, списать все уродство мира на счет творения? Но если человек изначально испорчен, то эта порча, как и деградация дикарей, не могла возникнуть в один миг, как следствие некоего преступления, — все это выдумки, призванные укрепить систему и доказать постулат весьма сомнительного свойства. Доктрина грехопадения необыкновенно притягательна для реакционеров любого толка: и недалекие, и дальновидные понимают, какое это великолепное про-

тивоядие от революционного оптимизма, ведь главное ее положение — неизменность человеческой природы, обреченной на падение и вырождение. Это значит, что надежды нет, разрешить социальные конфликты и радикально изменить структуру общества невозможно, а история — лишь временная составляющая однообразного процесса нашей деградации. Откровенный реакционер умеет из любой премудрости сделать худшие выводы, извлечь с самого ее дна идею статичности и необратимости. Логические, а тем более метафизические теории реакционны точно так же, как всякое мышление, которое в поисках стабильности сбрасывает со счета многозначное и вероятное. Мудрый революционер или революционный метафизик — это терминологические противоречия. На определенной степени отстраненности и дальновидности ход истории останавливается, а человек вообще не принимается во внимание: отказаться от видимости значит отринуть всякое действие и связанные с ним иллюзии. Сосредоточившись на природной порочности человека, не станешь размениваться на пороках того или иного общества и тем более думать об их исправлении. (Можно ли представить себе революцию с лозунгами из Паскаля?)

Реакционер — это чаще всего ловкий и небескорыстный умник. Манипулируя метафизическими истинами, он без устали и сострадания копается в темных извилинах человеческой души, чтобы обнародовать всю ее неприглядность. Он спекулирует на ужасах и, руководствуясь расчетливостью или чрезмерной предусмотрительностью, всегда хулит свое время и клеветает на него. Революционеры куда наивнее, а потому великодушнее. За пестротой и разбродом настоящего они провидят сущностное постоянство, в чередере перемен усматривают обогащение истории, в нарушении единообразия — приближение к заветному, пусть не всегда достижимому совершенству. В конечном счете смысла революции именно таков: это вызов идее пер-

вородного греха. В первую очередь, еще не приступив к разрушению установленного порядка вещей, революция стремится освободить человека от жесткой связи с далеким прошлым, которой подчиняет его религия, и достигает этого, расшатывая авторитет богов, ослабляя их власть над умами. Ведь боги, приковывая нас к доисторическим временам, насаждают пренебрежение к Будущему, фетишу всех поборников прогресса, от безобидных ворчунов до анархистов.

Наши политические взгляды зависят от оптики времени. Если мы заняты вечностью, то что нам до изменений в жизни стран и народов? Чтобы интересоваться и заниматься подобными вещами, нужно верить вместе с революционерами, что время способно разрешить все вопросы, излечить все недуги, разгадать все тайны и разъяснить все недоумения, способно осуществить тотальную метаморфозу. И вот что любопытно: культ новизны, исповедуемый революционерами, прекращается с установлением порядка, за который они ратуют, вместе с ним должны наступить идеальные времена, уникальная и бесконечная утопическая вневременность, обусловленная пришествием новой эры, совершенно отличной от всего, что было раньше, посюсторонняя вечность, которая завершает и увенчивает исторический процесс. Идея золотого века, или, проще говоря, рая, соблазняет верующих и неверующих... Однако первозданный рай религий и конечный рай утопий далеки друг от друга, как раскаяние и надежда, сожаления и мечты, совершенство достигнутое и чаемое. Нетрудно догадаться, где заряд энергии интенсивнее: чем больше проникнуто время духом утопизма (он может рядиться и в одежды «научности»), тем оно устойчивее и плодотворнее. Свидетельство тому — успех марксизма: выигрывает тот, кто считает абсолютом реальной возможностью и помещает его не в начало времен, а в конец. Местр, как все реакционеры, разместил абсолютом в прошлом. Эпитет «сатанинская», которым он наградил Французскую революцию, он мог бы отнести и к любым другим собы-

тиям, он ненавидел не только новшества, но и движение вообще. Местр стремится стреножить человека традицией, отбить у него вредную привычку задумываться над смыслом и целесообразностью учений и учреждений. «Если Бог сделал что-то недоступным нашему зрению, то только потому, что для нас опасно это лицезреть». «Осмелюсь утверждать: необходимое неведение важнее необходимых знаний».

Настаивая на неприкосновенности тайны, без которой немыслим порядок, Местр противопоставляет пытливости исследовательского ума ограниченное запретами правоверие, еретическому разброду твердую одну-единственную истину. И договаривается в своих рассуждениях до того, что пытается убедить нас, будто «любое метафизическое положение, если оно не вытекает из христианской догмы, есть пагубное излишество». Ярый приверженец слепого послушания, Местр порицает революцию за то, что она вскрыла и выставила напоказ механизм власти. «Когда ребенку дают заводную игрушку, которая непонятным для него образом движется с помощью скрытого механизма, он, поиграв с ней недолгое время, спешит разломать ее и посмотреть, что там внутри. Точно так же французы обошлись со своим правительством. Захотели посмотреть, что внутри, обнажили пружины политики, открыли толпе глаза на такие предметы, которые она сама никогда не догадалась бы разглядывать, и не подумали о том, что некоторые вещи нельзя показывать, не испортив...»

К этому дерзкому, вызывающе прагматичному суждению мог бы присоединиться сторонник любого режима и любой партии. Однако либералы (или левые) никогда не рискнут согласиться с ним вслух. Мистика и тайна — основание для сильной власти? Правые утверждают это, левые отрицают, в соответствии со своей идеологией. На деле же любая власть, если она стремится к прочности, нуждается в малой толике «са-

кральности», делающей ее недоступной для масс, в покрывале, наброшенном на ее маневры и арсенал. Демократические правительства отрицают это, зато независимые от мнения толпы консерваторы, не стесняясь, провозглашают самые избитые и непопулярные, самые старомодные и банальные истины. Демократы громко возмущаются ими, прекрасно зная про себя, что консерваторы выговаривают вслух то, о чем сами они только думают, и мысленно разделяют все их тайные разочарования и горькие убеждения, в которых не смеют признаться публично. Зажатые в тиски «благородства» собственной программы, не решаясь обнаружить и тень недоверия к «народу» или человеческой природе, лишённые права и облегчения ссылаться на первородный грех, они вынуждены восхвалять и поощрять человека, обещая «освободить» его; бесполезно чистый и бесполезно возвышенный идеал превращает их в оптимистов против воли, раздирает между деятельностью и мечтой, толкает вперед и парализует. Сколько раз в глубине души они завидовали беззащитности своих врагов! Беда левых в том, что они отстаивают принципы, исключющие цинизм.

Местр не испытывал подобных терзаний. Больше всего опасаясь свободы личности, он прилагал все усилия, чтобы утвердить власть и предохранить ее от разъедающих идей реформаторов и энциклопедистов. Укрепляя идею порядка, он всячески умаляет значение человеческой воли в устройстве общества и его законов, отрицает даже земное происхождение языков, то есть соглашается, что они имели свое начало, однако добавляет, что речь старше человека, поскольку обязана своим существованием Слову. Политическую подоплеку этой теории открывает Бональд⁵⁰ в своем вступлении к «Первичному законодательству».

⁵⁰ Бональд Луи де (1754—1840) — французский политический деятель реакционного толка, идеолог наследственной неограниченной монархии.

Если человеческий род получил речь свыше, то вместе с ней получил и «знание моральной истины». Следовательно, существует некий верховный, основополагающий закон, как и верховная иерархия обязанностей и истин. «Если же человек самостоятельно создал речь, а также научился мыслить, построил общество и закон, то он вправе все это разрушить и переделать. Недаром те, кто считают слово человеческим творением, рассматривают общество как произвольное установление...»

Идеал реакционной мысли — теократия. Она зиждется на презрении к человеку и вместе с тем на страхе перед ним: как существо совершенно испорченное, человек недостоин свободы, не умеет ею пользоваться, а если получит ее, то обратит против себя самого. Так что ради его спасения следует брать за основу государства и права нечто непреложное, лучше всего — веру в древнего страшного Бога-ревнителя, всегда готового прыгнуть и осадить революционеров.

Новая теократия идет по стопам старой; Местр считает, что только законы Моисея восторжествовали над временем, только они находятся вне «ограниченного круга человеческих возможностей». Бональд также называет их «наимощнейшими», поскольку они сформировали самый «устойчивый» народ, предназначенный быть «хранилищем истин». Революция восстановила евреев в гражданских правах, Реставрация же обратила взор на их историю и высоко оценила сакральную культуру, которую так поносил Вольтер.

Задумываясь о родословной своего Бога, христиан неизбежно наталкивается на Иегову, поэтому ему небезразлична судьба Израиля. Однако интерес к этому предмету наших двух мыслителей не лишен политического расчета. Этот «устойчивый» народ, не подверженный мании обновления, которой заражен век, казался им живым упреком другим нациям, легко ув-

лекшимся новомодными идеями! Но восхищение было недолгим: стоило Местру увидеть российских евреев, изменивших теократическим традициям и ставших проводниками новейших французских веяний, как он ожесточился против них, обозвал смутьянами и сравнил с протестантами — худшее ругательство в его устах! Невозможно себе представить, какие еще инвективы он обрушил бы на них, если бы знал, какую роль в раскрепощении общества будут они играть в дальнейшем как в России, так и по всей Европе. Преданный законам Моисея, он не мог вообразить себе законов Маркса... Местр так близок по духу Ветхому Завету, что его католицизм кажется сродни иудаизму, проникнуто пророческим исступлением, еле ощутимым в мирном, будничном тоне Евангелия. Одержимый демоном прорицания, он ищет повсюду знаки и знамения, предвещающие... возврат к изначальному Единству, завершение длительного падения человека в бездну, куда ввергли его грех и зло. Эти знаки и знамения так увлекают его, что из-за них он почти забывает о Боге или, по крайней мере, желает проникнуть не в саму природу божества, а в ее проявления, не в сущность, а в ее отражения; его занимает Провидение, иными словами, цели, пути и средства божественной стратегии, благодаря которой Бог являет себя вовне.

Автора «Вечеров» нередко записывали в мистики только потому, что он постоянно твердит о «мистическом» и ссылается на него всякий раз, когда его рассуждения заходят в тупик, но подлинный мистик не пытается разгадать сверхъестественное, не заслоняется им от трудных проблем, не привлекает его в качестве объяснения, он погружается в мистический мир, сливается с ним, живет в нем, как в мире реальном. Бог мистиков не похож на Бога пророков, изменившего вечности ради времени и ставшего внешним, поверхностным, — нет, это Бог наших душевных глубин, вобравший наши терзания и вопли.

Местр выбрал Бога пророков, «властелина», на которого бессмысленно жаловаться или досадовать, безучастного к душам, управляющего церквями, выбрал безликий мистицизм, приложение к теологии или диалектике, доктрину, а не опыт. Его не волнует встреча человеческого одиночества с одиночеством божественным, он занят не драмой веры, а религиозными проблемами и хотел бы установить между людьми и Богом не доверительные, а скорее юридические отношения, и поэтому делает упор на законы (в его трактовке вопросов веры сквозят нотки судейского крючка) и недалек от того, чтобы свести религию к «цементу, скрепляющему политическое здание», оставить ей лишь социальную функцию, превратив в своеобразный гибрид утилитарных и теократических притязаний, причудливую смесь иллюзий и постулатов. Местр предпочитает Отца Сыну, а им обоим предпочитает Римского Папу, то есть, верный своей позитивной натуре, откровенно льстит наместнику Бога на земле. «С ним случился католический удар», — сказал наш автор по поводу обращения Вернера, но эти слова подходят и к нему самому, потому что не Бог коснулся его, но впечатлила некая форма религии, земное представительство Абсолюта. Такой же удар получил и Бональд, стремившийся создать систему политической теологии. В письме от 18 июля 1818 года Местр писал ему: «Удивительно, сударь, что природа, словно бы забавляясь, создала две столь слаженно звучащие струны — ваш разум и мой. Мы думаем в унисон в самом строгом значении этого слова, — это ли не чудо!» Можно только пожалеть о таком родстве душ с бесцветным и ограниченным писателем, о котором Жубер говорил: «Этот захудалый дворянчик весьма остроумно и ловко строит доктрины из своих детских предрассудков». Вместе с тем оно позволяет понять, к чему тяготела мысль Местра и какие рамки он себе поставил, стремясь избежать произвола и субъективизма в вопросах веры. Однако время от времени визионер берет в нем верх над скрупулезным теологом, и тогда он отворачи-

вается от всех авторитетов, включая Папу, и возвышается чуть ли не до понимания вечности. «Порой хочется вырваться за узкие пределы нашего мира, предвосхитить день откровения и погрузиться в бесконечность. Когда двойственность человеческой природы сотрется и оба ее центра сольются, человек станет единым целым, с прекращением внутренней распри ему неоткуда будет взять саму идею противоположения. Но что станет тогда с людьми, с их взаимоотношениями: если исчезнет зло, то разве вместе с ним не исчезнут и страсти, и личный интерес? Что будет с нашим „я“, если все мысли и желания станут общими, если все увидят себя со стороны? Кто может постигнуть, представить себе этот небесный Иерусалим, все обитатели которого будут проникнуты единым духом, станут взаимопроницаемыми и будут излучать и отражать блаженство?»

Вопрос «Что будет с моим „я“?» не должен бы заботить верующего; «я» для него — докучная обуза, от которой он жаждет избавиться и которая мешает ему забыться в Боге, достичь полного слияния с ним, то есть предела желаний и устремлений. Местр, похоже, никогда не переживал такого слияния, этого экстаза, опьянения, растворяющего границы твоего существа; для него единство с Богом навсегда осталось теоретическим императивом. Привязанный к своему «я», он не может ни вообразить «небесный Иерусалим» и возврат в состояние благодного тождества, предшествовавшего разделению; ни томиться тоской по утраченному раю, к которому все-таки испытывает некую тягу как к исходной точке. Чтобы понять, как подобная тоска может наполнить собой каждый день, обратимся к другому писателю, оказавшему, кстати, немалое влияние на Местра, — к Клоду де Сен-Мартену, который знал лишь два ощущения — или, как он выражался, два «положения» — рая и праха. «В 1817 году, — пи-

шет он⁵¹, — я видел в Англии одного старика по имени Бест, у которого был особый дар: глядя на совершенно незнакомого человека, он приводил цитату из Священного Писания, всегда необыкновенно точно подходящую к характеру незнакомца. Мне он сказал: „Он оставил мир“. Сен-Мартен жил в эпоху, когда господствовали философские идеи, в эпоху шумного восхваления человека, но являл собой другую сторону XVIII века: никто не был глубже него погружен в потусторонний мир, никто убедительнее его не учил о грехопадении. Гимн Богу был его стихией, — да что там! — он сам был таким гимном. Читая Сен-Мартена, безошибочно распознаешь посвященного, человека, который поверен в величайшие тайны, но при этом — редчайший случай! — не потерял простодушия. В нем, подлинном мистике, не было ни капли иронии; она — антипод религии, она несовместима с молитвой, могли прибегнуть к ней «отринувший мир» и похвалявшийся разве что горькими вздохами? «Природа суть сгусток боли». «Если бы я не обрел Господа, то на чем бы остановился мой умственный взор на земле?» «С радостью ощущаю и говорю, что любое преуспевание сделало бы меня несчастным». И еще пример метафизического смирения: «Соломон сказал, что повидал все сущее под солнцем. Я знаю человека, который мог бы неложно утверждать, что повидал еще больше, — повидал и сущее над солнцем, но ничуть не кичится этим».

Как бы тонки и смиренны ни были эти мысли (они извлечены по большей части из «Посмертных произведений»), все же они не искупают невыносимого пафоса «Алчущего человека», где раздражает все, кроме названия, и где бедный читатель на каждой странице натывается на Руссо. Отметим в скобках любопытную судьбу Руссо — он влиял на окружающих лишь своими дурными сторонами, а его напыщенность и корявость

⁵¹ Сен-Мартен умер в 1803 г.

одинаково попортили слог Сен-Мартена и... Робеспьера. Высокопарный тон, царивший до, во время и после революции, все, что возвещало, определяло и портило романтизм, уродство любой поэтической прозы вообще порождены вдохновенно фальшивым гением Руссо, на нем лежит вина за распространение дурного вкуса в конце восемнадцатого века и в начале следующего. Пагубное его влияние коснулось и Шатобриана, и Сенанкура⁵², один лишь Жубер сумел избежать его. Сен-Мартен поддался этому влиянию с тем большей легкостью, что его собственное литературное чутье никогда не было особенно верным. Идеи же его, весьма расплывчатые, приводили в бешенство Вольтера; прочитав «Истину и заблуждения», он писал Д'Аламберу: «Не думаю, что когда-либо печаталось на бумаге нечто более нелепое, непонятное, бессвязное и глупое». Ну, а Местр, как ни досадно, явно предпочитал именно это произведение, правда, было это в те времена, когда он отдавал дань и руссоизму, и теософии. Но и позже, когда и то и другое он стал отрицать, когда отошел от иллюминатства⁵³ и с неблагоприятным презрением называл франкмасонство «чепухой», он не изменил своей симпатии к «Неизвестному философу», откуда почерпнул развитие впоследствии идеи о «первозданной науке», материи, жертве и спасении через кровь. Идея грехопадения, возможно, не приобрела бы такого значения у Местра, не будь она тщательно разработана Сен-Мартеном. Заново обдумав, свободно и неортодоксально изложив эту общеизвестную идею, теософ омолодил ее и вернул ей власть над умами, — только вольнодумцы способны до такой степени обновлять избитые религиозные темы. Сен-Мартен оказал подобную услугу и идее Провидения, которая, ут-

⁵² Сенанкур Этьен Пивер де (1770—1846) — французский писатель, в своем творчестве предвосхитивший многие черты романтизма.

⁵³ Иллюминатство — этим словом в XVIII — начале XIX в. было принято обозначать идеи Просвещения.

вердившись благодаря ему в масонских ложах, обрела особую притягательность, какой не могла наделить ее ни одна церковь. Еще одна заслуга Сен-Мартена заключается в том, что в эпоху «безграничного прогресса» он сумел придать религиозную окраску страху перед временем, к которому мы прикованы. По этому пути последует за ним и Местр, хотя с меньшей экзальтацией и пылом. «Время, — скажет он, — это нечто вынужденное, стремящееся лишь к завершению». «Человек — раб времени, но по своей природе он чужд ему, чужд до такой степени, что даже мысль о вечном блаженстве, связанная в его представлении со временем, тяготит и страшит его».

По мысли Местра, доступ в вечность открывает не экстаз, не личный прорыв к абсолюту, а вмешательство из ряда вон выходящего события, способного прекратить развитие; не вспышка восторга, на миг растопившая время, а конец времен, окончательная развязка исторического процесса. Нужно ли повторять, что он мыслит нашу связь со временем как пророк, а не как мистик. «На земле больше нет религии — человеческий род не может пребывать в подобном состоянии. Даже сомнительные пророки твердят, что „исполнился срок времен“».

Нет эпохи, которая не тешила бы себя мыслью, что она последняя, одни считают себя завершением очередного цикла, другие — всей истории. Вот и сегодня, как вчера, людям легче представить себе ад и апокалипсис, чем золотой век и счастливую утопию; мы леем мысль о космической катастрофе так же, как некогда буддисты, досократики, стоики. Постоянный страх поддерживает нас в неустойчивом равновесии, благоприятном для пророчеств. Такие настроения особенно широко распространяются после великих общественных потрясений. Страсть к пророчествам завладевает тогда всеми, катастрофа равно возбуждает и фанатиков, и скептиков, и они согласно упиваются

собственной проницательностью: они знали и предупреждали! Ну, а убежденных реакционеров неизбежность и наступление худшего конца приводит в ликование, хотя и с трагическим привкусом, так как доказывает их правоту. «Я гибну вместе с Европой», — заявлял Местр в 1819 году. А двумя годами раньше Бональд писал примерно то же самое Местру: «Новостей не сообщая, вы и сами знаете, что у нас творится и что нас ждет. И все-таки во всем этом есть, как мне кажется, что-то необъяснимое и выходящее за пределы человеческой воли и разума; яснее же всего мне, право, видится в происходящем... Апокалипсис».

Оба они готовили Реставрацию и оба испытали разочарование, когда она стала реальностью: стереть в умах все следы революции оказалось Реставрации не под силу. Впрочем, вполне возможно, что и разочарование было предусмотрено заранее, судя по тому, как усердно они ему стали предаваться. Как бы там ни было, история пренебрегла их предписаниями, обманула их ожидания, нарушила систему. Самые мрачные высказывания Местра, в которых сквозит этакое романтическое самолюбование, относятся к годам, когда, казалось бы, его идеи восторжествовали. В письме от 6 сентября 1817 года он писал своей дочери Констанс: «Я всегда чувствовал на себе невидимую железную руку, которая держит меня как в неотвязном кошмаре, не дает пошевелиться и вздохнуть». Безусловно, сложные отношения с королем Виктором Эммануилом играли немалую роль в угнетенном состоянии духа Местра, но еще больше тревожили его приближение новых потрясений и призрак демократии. Он не желал смириться с тем будущим, которое складывалось на его глазах и которое он сам же предсказывал, и надеялся — неистребимый оптимизм побежденных! — что, раз его идеал зашатался, с ним зашаталось все; что вместе с тем общественным укладом, к которому он привязан, рухнет все общество. Обычное и естественное заблуждение. Можно ли отделить себя от истори-

ческой действительности, которая совсем недавно совпадала со всеми твоими душевными устремлениями и вдруг начала распадаться? Когда принять будущее невозможно, поддаешься искушению объявить, что мир пришел в упадок, — идея не истинная и не ложная, но хоть объясняющая, почему каждая эпоха, стремясь заявить о себе, непременно утрачивает какие-то важные и незаменимые ценности предыдущей.

Старый режим был обречен на гибель, он изнашивался задолго до того, как его уничтожила революция. Начинает ли это превосходство третьего сословия? Нет, поскольку вкусы буржуазии, при всей своей добродетельности и жизнестойкости, ничуть не лучше вкусов свергнутого дворянства. Смена сословий в ходе истории осуществляется скорее механически, чем по необходимости. В абсолютном смысле ничто не может устареть, в относительном же плане, в текущей жизни, где единственный критерий — новизна, а единственная мораль — жажда перемен, — устаревает все. Чтобы постичь смысл событий, нужно смотреть на них совершенно отстраненным взглядом. Творцы истории едва ли понимают ее, а участники либо сами одурачены, либо водят за нос других. Залогом объективности суждений служит непредвзятость, но поскольку так называемая «жизнь» состоит из пристрастий, заблуждений, иллюзий и жажды иллюзий, то выносить объективные суждения значило бы смотреть на мир с позиции смерти.

Самоутверждаясь, третье сословие было вынуждено отвернуться от всего характерного для старорежимного стиля: от элегантности, утонченности, здорового скепсиса. Но движение вперед невозможно без некоторого отступления, как подъем без падения, другое дело, что, если срыв случается при общем прогрессе, он ограничивается определенным участком. Добившись власти, буржуазия пустила в ход всю ту энергию, которая накопилась в ней за время вынужденно-

го неучастия в политической жизни, и с этой точки зрения привнесенные революцией изменения были безусловным шагом вперед. То же самое повторяется с выходом на политическую сцену пролетариата, явившегося сменить успевшую окостенеть и стать бесплодной буржуазию. И вновь сыграет свою роль закон отступления, так как новые хозяева упустят ценности, которые искупали пороки эпохи либерализма: отвращение к единообразию, дух риска и азарта, умственную раскрепощенность, имперские притязания, еще сильнее сказывающиеся на индивидуальном, чем на коллективном уровне.

Неумолимый закон направляет и карает общества и цивилизации. Исчерпав жизненные силы, прошлое рассыпается, и цепляться за него бессмысленно. Но именно привязанность к обветшавшим формам жизни, к проигравшим или неправым партиям вдохновляет проклятия Местра или Бональда. Все прекрасно и ложно в утопических мечтаниях; все скверно в наблюдениях реакционеров и вроде верно... Само собой разумеется, что резко разграничивать в своих рассуждениях реакцию и революцию нас побуждает либо собственная лень и примитивность, либо удобство формулировок. Упрощение всегда все облегчает, потому так соблазнительны абстракции. Но конкретная реальность, успешно справляясь с нашими удобными объяснениями и концепциями, выявляет, что, свершившись и установившись, революция перестает способствовать брожению и зарождению, становится противоположностью самой себе и вынуждена воспроизводить черты, установления и даже иерархию того строя, который ниспровергла; чем больше она это делает (а не делать не может), тем больше разрушает собственные принципы и авторитет. И тогда революция приобретает своеобразный консерватизм, отныне она будет бороться, отстаивая не прошлое, но настоящее. А помогут ей в этом те самые способы и средства, которыми охранял себя побежденный строй. Итак,

чтобы упрочить завоевания, которыми революция гордится, она должна отказаться от возвышенных фантазий, которые придавали ей энергию. Таким образом, поистине революционным можно считать лишь предреволюционный период, когда люди ревностно служат двойному культу — культу будущего и культу разрушения. До тех пор, пока революция остается потенциальной возможностью, она может выйти на трансцендентный уровень, выйти за рамки истории, но как только осуществляется, она возвращается в эти рамки и вписывается в них, продолжая колею прошлого, успехи ее на этом пути будут тем больше, чем лучше она освоит методы реакции, которые прежде осуждала. Даже в самом ярлом анаρχисте, в глубинах его бунтарского духа таится реакционер, который ждет своего часа, часа власти, когда превращение хаоса в... порядок натолкнется на трудности, с которыми никакая утопия не справится, без того чтобы не стать напыщенной и смехотворной.

Нет такого новшества, которое, приблизившись к цели, воплотившись в государство, не скатилось бы автоматически к старым устоям и не примкнуло к традиции. Обретая точность и определенность, импульс обновления теряет энергию; то же самое происходит и с идеями: чем внятнее они выражены, тем меньше сила их воздействия; предельно четкая мысль исчерпала свою перспективу. Выйдя из стадии потенциальности, мысль и деятельность ослабевают и сходят на нет, мысль превращается в систему, деятельность — во власть. И то и другое суть непродуктивность и деградация. Можно без конца рассуждать о судьбах социальных и прочих революций, но при всем различии у них есть общая черта: каждого, кто горячо в них поверит, постигнет разочарование.

Мы лучше поймем Местра, если согласимся с тем, что коренное, существенное обновление человечества можно задумать, но нельзя претворить в реальность.

Не имеет смысла порицать то или другое из его положений, он был и останется сторонником определенного мировоззрения, существующего при любом режиме, когда этот режим застывает и оружием его становится догматизм и устрашение. На свете не сыщется другого столь яростного обличителя всего, что зарождается и жаждет действовать. Он ненавидел любую деятельность, ему мерещился в ней раскол, переворот, поскольку для него самого «делать» означало «переделывать». Точно так же революционер относится к настоящему, в котором он утвердился и которое хотел бы закрепить навечно; настоящее очень быстро начинает уходить в прошлое, и, цепляясь за него, он в конце концов примыкает к поборникам традиции.

Трагедия политики коренится в той тайной силе, что разворачивает любое движение в противоположную сторону, извращает его исходный импульс, подтачивает его по мере того, как оно усиливается и крепнет. В политике, как везде, достижение цели приносит гибель. Революции затеваются, чтобы придать смысл истории. Этот смысл давно задан, — возражают реакционеры, — нужно лишь сообразовываться с ним и защищать его. То же самое будут говорить, восторжествовав, и революционеры. Таким образом, нетерпимость появляется тогда, когда гипотеза становится твердой уверенностью и навязывается властью как неоспоримая истина, когда желаемое постулируется как действительное. Любая доктрина чревата бедствиями, ибо созидательным человеческий ум может быть разве что нечаянно, обычно же встреча человека с идеей грозит разрушительными последствиями.

Убежденные в том, что реформы невозможны, а стремления к лучшему тщетны и неправомерны, реакционеры желают избавить человечество от мучительных несбыточных надежд и тягостных бессмысленных поисков. Они предлагают ему успокоиться на достигнутом, забыть о тревожениях, погрузиться в благост-

ную неподвижность и, приняв наконец неизменность официального хода вещей, предпочесть тягу к трагедии инстинкт самосохранения. Однако человек, падкий на любые предложения, этого не приемлет. В этом-то вся беда, поэтому-то он обречен быть временно или поочередно революционером и реакционером. Но как ни относительно классическое разграничение «революционеров» и «реакционеров», приходится сохранять его во избежание разброда и хаоса при анализе политических явлений. Оно служит пусть зыбким, но необходимым ориентиром, сомнительной, но неизбежной условностью. Такая же условность вынуждает нас без конца твердить о «правых» и «левых», хотя эти термины слишком расплывчаты, не имеют реального содержания и подходят лишь демагогам — вот уж кто употребит их ловко и с удовольствием. Случается порой (вспомните движения за национальную независимость), что правые превосходят левых в силе, напоре и энергии. Они проникаются тогда революционными настроениями и представляют уже не только косное прошлое, не только интересы какой-то группы или вымирающего класса. И наоборот, левые, связанные по рукам и ногам властью, попав в плен обветшалых предрассудков, теряют все свои достоинства, каменеют и наживают те изъяны, которыми обычно отличаются правые. Жизнеспособность не составляет чьей-либо привилегии, дело аналитика — отметить ее наличие и степень, не обращая внимания на идейную лакировку, которую наводит на нее то или иное движение, та или иная партия. Взгляните на целые народы: одни совершают свои революции, двигаясь вправо, другие — влево. И хотя в первом случае революции чаще всего оказываются фальшивыми, но все же они существуют, и одно это обличает бессмысленность однозначного определения революционности. «Правое» и «левое» — это грубые обобщения, без которых, однако, не обойтись. Отказаться от них значило бы не становиться ни на чью сторону, не высказывать суждений в области политики, сбросить бремя традиции, потребо-

вать, чтобы человек пробудился для абсолюта и стал чисто метафизическим животным. Мало кто способен на такой рывок к свободе, такое резкое пробуждение от сонной одури. Мы все погружены в дремоту и, как ни парадоксально, только потому и способны к действию. Будем же и дальше как ни в чем не бывало пользоваться принятыми делениями и оставаться в счастливом неведении того, что все возникающие в потоке времени понятия в конечной, высшей инстанции взаимозаменяемы.

Причина, которая вынуждает политиков прибегать к понятиям и категориям, ничуть не похожа на ту, по которой обращаются к ним ученые-теоретики. Те и другие испытывают в них необходимость, но политики пользуются ими в не слишком благовидных целях: все теории активных действий и борьбы с их системами и доводами созданы только для того, чтобы люди могли с чистой совестью ненавидеть друг друга... честно, открыто и достойно. Не законно ли, по зрелом размышлении, сделать вывод, что при таком положении дел человеку свободного образа мыслей, которому претят идеологические игры, но который не волен вырваться из времени, остается выбор между отчаянием и соглашательством?

Местр, по определению, не мог быть ни отчаявшимся, ни соглашателем: ему запрещали это и вера, и принципы. Однако вера отступала перед эмоциями, и нередко приступы уныния овладевали им, особенно при взгляде на обреченное общество. Подтверждение этому — его суждения о Европе. В то время не один он полагал, что скоро погибнет вместе с нею... И в предыдущем, и в нынешнем веке многие были убеждены, что Европа при последнем издыхании и способна лишь жеманиться, маскируя свою немощь. Каждый раз, когда какая-нибудь страна терпела крупное поражение, в ней распространялись подобные настроения: так было во Франции после 1814-го, 1870-го,

1940 годов, в Германии после краха 1918-го и 1945-го. Между тем Европа, не слушая многочисленных касандр, продолжает весело агонизировать, и эта агония, столь упорная и длительная, кажется, стала для нее формой новой жизни. Так это или нет — вопрос, определяющий дальнейшую перспективу Европы и решение идейных споров; для марксистов он вполне безразличен, зато глубоко волнует либералов и консерваторов. Хотя позиции тех и других совершенно противоположны, они одинаково встревожены угрозой, нависшей над их воззрениями и предрассудками, над всем, что составляет смысл их жизни. Нет сомнений, что на наших глазах привычная Европа распадается, но это только этап глобального упадка. Когда умер Бергсон, Валери сказал, что «ушел последний представитель европейской мысли». Эта формула пригодится еще не раз, «последних представителей» западного духа отыщется немало... О конце «цивилизации», конце «культуры» с горечью твердят те, кому наступающее будущее кажется враждебным и хочется отомстить изменнице-истории, которая не пожелала соответствовать придуманному ими образцу. Местр гибнет вместе со своей Европой, той, что отвергла дух обновления, это «величайшее бедствие», как именует его наш автор. Он был убежден, что только не мытьем, так катаньем внедренная во все умы общая идея способна уберечь общество от развала, предотвратить опасные новшества, шатания и дотошные изыскания в области религии и политики. Воплощением такой идеи он считал католицизм, ничуть не смущаясь бытующим в мире разнообразием установлений, нравов и богов. Изменчивости опыта он противопоставляет абсолют догмы, конфессию же, которая дерзнет выйти из подчинения этому абсолюту и позволит себе особое мнение, свободное суждение, он не колеблясь объявляет вредоносной и отказывается признавать ее религией. «Если бы место христианства заняло магометанство или даже язычество с их вероучением, они, с политической точки зрения, причинили бы обществу меньше зла,

чем протестантизм, потому что они — религии, а протестантизм нет». Пока Местр хоть как-то сохранял верность масонским принципам, он еще был до некоторой степени восприимчив к либеральным взглядам, когда же из ненависти к революции предался душой и телом церкви, то сделался фанатиком.

Все виды абсолютизма, на чем бы они ни основывались: на утопии или на реакции, — близки между собой. Идеологические различия — это нечто поверхностное, по сути же эти системы, не просто безусловно утверждающие некий принцип, но еще и возводящие его в закон и догму, имеют общую схему, общую логику. Точно так же общий ход мысли роднит многие теоретические воззрения, различные по содержанию, но аналогичные по форме. Что же касается доктрин, проповедующих всеединство, то они настолько схожи, что, изучив любую из них, ясно представляешь себе все режимы, запрещающие инакомыслие в теории и на практике и лишаящие человека права на сомнения, нестандартное мышление и индивидуальность.

Одержимый идеей единства, Местр ополчается против всякой попытки на него покуситься, против малейшего поползновения на самостоятельность или новизну, он не желает понимать, что ересь — это исключительно действенный способ оживить религию. Она встряхивает людей, вырывает их из косного оцепенения привычки и хотя, быть может, ослабляет церковь, но укрепляет веру. Всякий официально признанный бог киснет в одиночестве и забвении. Истово молятся только сектанты и гонимые меньшинства — молятся в темноте и страхе, как нельзя лучше стимулирующих благочестие. Но для такого, как Местр, повиновение, я бы даже сказал, иступленное повиновение, гораздо важнее искренней веры. Лютеране, кальвинисты, яansenисты, по его мнению — бунтовщики, заговорщики и предатели, он пригвождает их к позорному столбу и одобряет все средства их уничтожения,

кроме «преступных». Однако и эти последние, судя по тому, как он расхваливает инквизицию, ему не претят. Чем не Макиавелли от теократии!

Единство он мыслит в двух аспектах: метафизическом и историческом. С одной стороны, оно означает конец разделения, победу над грехом и злом, с другой — апофеоз и окончательное торжество католицизма над современными соблазнами и заблуждениями. Единство на уровне вечности и единство на уровне времени. Первое для нас недостижимо и непостижимо, о втором же мы можем составить себе представление и судить. Скажем прямо: оно весьма проблематично и внушает скепсис. Не видно религиозной идеи, которая могла бы политически и духовно объединить мир. Христианство слишком немошно, чтобы привлечь или подчинить умы, значит, взяться за дело должна будет какая-то идеология или завоеватель. Быть может, в этом преуспеет марксизм или цезаризм нового типа? Или оба вместе? Их синтез кажется несуразницей. Правда, только для человеческого разума, но не для истории, где царит аномалия.

Каждодневный опыт подтверждает, что католицизм находится в еще большем упадке, чем все христианство в целом; в нынешнем своем состоянии, покладистый, осторожный, сдержанный, он не выдержал бы пылких, блестяще-безудержных восхвалений Местра. Не потому ли Местр с таким гневом обличал в других «сектантский дух», что сам был проникнут им до мозга костей. Человек, проклиная яacobинский террор, не нашел ни единого слова в осуждение отмены Нантского эдикта, напротив, он ее одобрял: «Говорят, Франция потеряла убыток, оттого что беглецы вывезли в другие страны свои предпрятия — кого могут волновать эти торгашеские соображения...» Торгашеские соображения — каково! В своем злопыхательстве он доходит до абсурда, так что остается гадать, притворство это или безумие: «Людовик XIV рас-

топтал протестантов и умер в своей постели, дожив до глубокой старости и достигнув вершины славы, а Людовик XVI обласкал их и умер на эшафоте».

В другом месте, проявляя неожиданную умеренность, Местр признает, что дух критики, дух протеста существовал задолго до Лютера, и справедливо возводит эту традицию к Цельсу, то есть к началу полемики с христианством. В самом деле, христианин для римского патриция — это дикость, загадочное явление, непостижимый феномен. Цельс в «Истинном слове»⁵⁴ — должно быть, сильный был трактат, если он вообще был — обрушивается на новых сектантов, которые своими интригами и безумствами усугубляют и без того тяжелое положение осажденной варварами империи. У него не укладывается в голове, как можно предпочесть греческой философии какое-то туманное и сомнительное учение, которое его самого возмущает и отталкивает, однако же он не может не признавать с отчаянием, что это учение крайне заразительно и ужасающе живуче. Шестнадцать веков спустя его аргументацию и инвективы подхватит и разовьет Вольтер, охваченный тем же яростным недоумением перед сногсшибательной карьерой христианства и приложивший все силы, чтобы разоблачить его лживость и вредоносность. Местр, и здесь склонный к преувеличениям, видит в Вольтере, заботившемся об оздоровлении общества, предтечу революционного террора, так как для него эшафот — прямое следствие атеизма. «Необходимо уничтожить дух XVIII века», — настаивает он, забывая, что этому духу был присущ фанатизм лишь одного толка, а именно: фанатическая терпимость. Кроме того, по какому праву он нападает на гильотину, раз умилялся кострам? Но это противоре-

⁵⁴ Речь идет о не сохранившемся до наших дней трактате римского ученого и писателя II века Цельса «Истинное слово», в котором он выступил с резкой критикой христианства.

чие не тревожит поклонника инквизиции, он служит своему идолу и оправдывает все совершенные во имя него преступления, те же, что совершены во имя другого идола, сурово порицает. Извечный парадокс пристрастности.

Лишь намеренно искажая истину, можно считать XVIII век каким-то особым средоточием и воплощением зла. Какое другое время так непримиримо обличало всяческую несправедливость? То была благотворная работа, которую Террор не увенчал, а оборвал.

«Никогда, — пишет Токвиль, — не проповедовались так широко и не принимались в обществе так охотно веротерпимость, гуманное правление, человеколюбие и доброжелательность, как в XVIII веке; даже военное право, последнее прибежище насилия, умерило кровожадность. Но в лоне этих мягких, облагороженных нравов вызрела чудовищная революция».

На деле слишком «цивилизованная» эпоха достигла той степени утонченности, которая сделала ее хрупкой, обрекла на недолгое процветание. «Мягкие нравы» и распушенность всегда идут рука об руку, доказательство тому — Регентство, самый приятный, просвещенный и, следовательно, самый развратный период новой истории. Головокружительная свобода отравляла умы, и уже госпожа дю Деффан, личность еще более характерная для той поры, чем сам Вольтер, замечает, что свобода — «благо не для всех» и мало кто способен вынести ее «пустоту и неопределенность». Мне кажется, именно спасаясь от «пустоты и неопределенности», Франция ринулась в революционные, а потом в имперские войны, добровольно расставшись с привычкой к дерзкому, независимому аналитическому мышлению, которую приобрела за сто лет скептических прений. Избыток умствования и иронии грозил ей распадом, и, избегая его, она сначала бросилась в массовую авантюру, а потом всенародно предалась

послушанию. «Невозможно объединить людей для достижения какой-либо цели, — вещает Местр, — без закона или устава, которые лишали бы их собственной воли, обращали в монахов или солдат».

Но этот наш природный недостаток ничуть не печалит Местра, напротив, он рад ему и, ссылаясь на него, превозносит до небес монархию, папство, испанские суды и вообще все атрибуты неограниченной власти. Сначала ученик иезуитов, всегдашних пособников автократии, он сделался впоследствии их рупором и неустанно выражал свое восхищение и признательность: именно им он был обязан тем, что «не стал оратором Учредительного собрания». Все суждения Местра о себе неизбежно касаются революции, его отношения к ней; точно так же связана с революцией его хвала или хула Франции. Этот уроженец Савойи, называвший себя «лучшим французом из всех иностранцев», вернее других уловил дух «народозачинщика», которому было суждено, благодаря собственному ему духу прозелитизма, стать «настоящим законодателем» для всей Европы. Провидение установило «эру французов», — говорит Местр и приводит по этому поводу призыв Исаии «не ходить путем народа сего». Применительно к современной ему Франции это высказывание было вполне справедливо, позднее оно станет не столь оправданным, а после 1914 года и вообще потеряет смысл.

Все потрясения XIX века были отголосками революции, и ни одно из них не было равным ей по силе и значению. Бунтари сорок восьмого года равнялись на деятелей восьмьдесят девятого, их сковывал страх оказаться недостойными великих предшественников, они были всего лишь эпигонами, мятежниками поневоле, не создателями, а наследниками в общем-то навязанного им образа действий. Ни один народ не способен породить две радикально отличные друг от друга великие революции или мессианские идеи. Лишь

единожды, в предписанное время, в свой час, поднимается он во весь рост, достигает полного расцвета, являет все, что есть в нем истинного и ложного, а затем снижается, исчерпав свои силы вместе с миссией, к которой был призван.

После Октябрьской революции Россия так же влияет на другие страны, так же ужасает и завораживает их, как когда-то Франция после 1789 года. Пришла ее очередь внедрять свои идеи в мир, а миру покорно, со страхом или угодливостью принимать их. Русский прозелитизм оказался даже мощнее французского, и Местр мог бы сегодня с еще большим основанием сказать, что «Провидение установило эру русских», отнести к ним слова пророка Исаии и их назвать «народом-зачинщиком». Впрочем, в свое время он жил среди русских и был далек от того, чтобы преуменьшать их возможности: «Никто не желает так страстно, как русский...», «если было бы можно заточить желание русского в крепостное подземелье, оно взорвало бы крепость». Народ, считавшийся в те времена послушным и вялым, показался Местру «самым подвижным, самым буйным, самым предприимчивым на свете». Мир стал догадываться о чем-то подобном только после восстания декабристов (1825), крупного события, после которого и реакционеры, и либералы, одни с опаской, другие с вожделением, стали предрекать России большие потрясения. Не надо быть пророком, чтобы провидеть надвигающуюся бурю. Русская революция, как никакая другая, была предсказуема и неизбежна; ни решительные реформы, ни смягчение режима, ни добрая воля, ни самые щедрые послабления не смогли бы предотвратить ее. Не было нужды ее развязывать — она, так сказать, существовала задолго до того, как проявилась, и была подробно описана (я имею в виду «Бесов») задолго до того, как сделалась реальностью.

По мнению Местра, основой «надежного порядка» может быть либо рабство, либо религия. Главную опору

царской власти он видел в крепостничестве, не ставя ни во что православную церковь, которую считал погрязшей во лжи и пороке, зараженной духом протестантизма, а главное, неспособной служить противником нигилистическим идеям. Но помешала ли церковь католическая, истинная, революции во Франции? Местр даже не задавался таким вопросом; единственное, что он принимал во внимание, — это абсолютную власть, а таковой считал любую, до тех пор пока она оставалась властью, то есть «пока никто не смел воспротивиться ей, объявив ее незаконной или несправедливой».

Не станем отрицать, что оголтелость Местра иногда отступает — сказывается полученное в молодости воспитание или пробивается голос совести. Но эта, «гуманная» его сторона не представляет ни малейшего интереса. Нет, его талант проявляется во всем блеске, когда он воюет со своим временем и со здравым смыслом! Поэтому нас привлекает и увлекает именно Местр-реакционер. Всякий раз, когда он оскорбляет наши понятия или нападает на наши предрассудки, отстаивая свои, мы рукоплещем: в такие моменты как писатель он изощрается и превосходит себя. Самые жуткие воззрения нашего автора будут облечены в самую прозрачную и легкую форму. Страшно вспыльчивый по натуре, он и в ярости не пренебрегал тонкостями языка, метал громы и молнии по всем литературным и даже грамматическим правилам; неистовство не только не вредило точности и изяществу его слога, а, напротив, доводило их до совершенства. Это был эпилептик, обожающий плести словесное кружево. Буйство, желчь, судороги и вензеля, раж и грация — то была взрывчатая смесь, из которой состояли его гневные инвективы — а вернее, бессильные ультиматумы — против «заблуждений века». Он чувствовал унижение, оттого что не смог обратить свои пристрастия и суеверия в закон, и искупал это решительным, дававшим иллюзию действительности словом. Не ища ис-

тины ради истины, а лишь подбирая боевое оружие, не признавая чужих идеалов и даже не умея остаться к ним безразличным, он жил отрицанием, более того — отвращением, и мечтал раздавить противника. Таково было непереносимое, необходимое условие творческой неуравновешенности; иначе его постигло бы бесплодие, бич тех мыслителей, которые не раздувают в своей душе огонь вражды с собой или с миром. Возобладай терпимость, Местр потерял бы свой дар. Помимо всего прочего, для такого заядлого любителя парадоксов, как он, единственным способом проявить оригинальность после целого века пышных речей о свободе и справедливости было броситься в другую крайность, сменить декорации и прославлять мнимые блага сильной власти.

Быть может, когда Наполеон прочитал в 1797 году в Милане «Размышления о Франции», этот трактат послужил оправданием для его честолюбивых устремлений и даже указал им русло: ему оставалось лишь воспользоваться изложенной Местром апологией монархии. Напротив, речи и писания либералов (Некера, г-жи де Сталь, Бенжамена Констана) должны были его раздражать, поскольку, по выражению Альбера Сорея, их теории возводили «препоны на его пути к верховной власти». Либеральные идеи исключали такое понятие, как «судьба», и в них не было ничего привлекательного для завоевателя, который не только постоянно думал о судьбе, но и мечтал стать ее избранником, ее живым воплощением, толкователем воли Провидения, предназначенным на эту роль природой и историей. «Размышления» утвердили Бонапарта в сознании своей миссии. Часто говорят о любви-ненависти, но забывают, что существует и другое, еще более противоречивое чувство: восторг-ненависть; именно так относился Местр к Наполеону. Оказаться современным тираном, достойного ненависти, отдаваться всем пылом души развенчанию того, на кого втайне хочешь походить, — вот это счастье! Наполеон

заставлял своих противников дотягиваться до себя, принуждал к соперничеству и тем доставлял им великую пользу. Без него Шатобриан, Констан, Местр не позволили бы себе презреть чувство меры и не дали бы волю один — своей выпренности, другой — непостоянству, третий — горячности, не будь высокопарным, изменчивым и вспыльчивым Наполеон, который и ужасал, и восхищал их. Кто вступает в битву с «чудовищем», тот всегда чем-то родствен ему, поневоле перенимает какие-то его черты. Так Местр похож на ненавистного ему Лютера, а еще больше — на своего главного врага Вольтера; есть в нем и сходство с Паскалем, автором тех самых антииезуитских «Писем к провинциалу», которые вызывали у него негодование. У него был дар памфлетиста, и на таких же памфлетистов из противного лагеря он обрушивался, потому что хорошо понимал их и так же, как они, был пристрастен и любил передергивать. Недаром он определял философию как искусство пренебрегать возражениями, определяя тем самым свой собственный метод, свое собственное «искусство». Впрочем, это утверждение не так далеко от истины, как кажется на первый взгляд: разве можно отстаивать свою идею, убеждать в своей правоте, если без конца оглядываться, взвешивать за и против, обдумывать каждую мелочь? Орудие самобытного мыслителя — не мотыга, а таран. Он — *Draufganger*⁵⁵, горячая голова, буян, отчаянный смутьян; бунт его касается отвлеченных предметов, часто принимает скрытую форму, но это не смягчает и не отменяет его. За внешне безобидными, облеченными в научную форму рассуждениями стоят воля и стихийный напор, — столь же необходимые для построения систем, как разум. Без них не преодолеешь возражений, которые этот разум сковывают, словно цепи. Ведь любому утверждению можно противопоставить обратное. Чтобы высказать вслух свое мнение даже по самому незначительному поводу, требуется отвага, из-

⁵⁵ Лихач, сорвиголова (нем.).

вестное безрассудство и податливость лежащим вне логического мышления порывам. «Весь человеческий род, — пишет Местр, — произошел от одной супружеской пары. Эту истину, как и все прочие, опровергли, — но что с того?» Точно так же обходятся с доводами противников все, кто верен какому-либо учению, приемлет одну-единственную точку зрения; но мало кто в этом признается, мало у кого достанет честности сказать: да, я поступаю так и правильно делаю, ибо иначе увяз бы в оговорках и вообще онемел. Искренность Местра, хотя и невольная, делает ему честь; это гордое и бесцеремонное «что с того?» объясняет все его сумасбродства.

Местр помогает понять, что такое догматизм и догматики, заявляя с простодушной уверенностью: «Мы и только мы — счастливые обладатели истины...» Нам с вами чуждо такое бахвальство, но оно тешит и укрепляет душу фанатика. Вера, которая допустит существование другой и не будет считать себя единственной носительницей истины, обречена; отказавшись от притязаний на непреложность и вечность, она теряет почву под ногами и согласится с тем, что она всего лишь одно из явлений общественной жизни, нечто случайное и преходящее. Бесчеловечность — залог силы и долголетия религии; снисходительная религия — это какая-то насмешка или чудо. Такова страшная правда, которую подтверждает весь опыт иудео-христианского мира: единобожие предполагает нетерпимость и, хотим мы этого или нет, — теократию. Более того, все проповедующие единую истину учения, в том числе атеистические, сделаны из одного теста, все построены по теократическому образцу, являют собой этакую «мирскую» теократию. Позитивизм многое позаимствовал у «ретроградов»: вылушив из старых философских систем чуждое содержание, устранив религиозное ядро, воспользовался их логическим каркасом

и общими понятиями. Огюст Конт⁵⁶ распорядился идеями Местра точно так же, как Маркс — идеями Гегеля.

Придерживаясь противоположных взглядов на религию, но одинаково преданные каждый своей доктрине, и католики, и позитивисты использовали трактат Местра «О Папе» в своих интересах; отсюда же, исходя из собственных внутренних побуждений, почерпнул кое-какие мотивы — например, зла и греха, — кое-какие «предрассудки» (неприязнь к демократии и «прогрессу») иначе понимавший свободу Бодлер. «Подлинная цивилизация», по его мысли, должна все больше «стирать клеймо грехопадения», — явный отголосок «Петербургских вечеров», где говорится, что «совершенная цивилизация» возможна там, где нет гнета первородного греха. «Де Местр и Эдгар По научили меня думать», — признается Бодлер. Возможно, справедливее было бы сказать, что ультрамонтан⁵⁷ Местр заразил его навязчивыми идеями? «Сатанизм» Бодлера, его мысли о «промысле дьявола» — все это темы из Местра, вывернутые наизнанку, усиленные и поданные как горький опыт. Вообще нужно заметить, что философия периода Реставрации неожиданным образом сказалась на литературе: так же ощутимо, как Местр на Бодлера, повлиял Бональд на Бальзака. Если покопаться в биографии любого писателя, и в особенности поэта, проследить, как складывалось его мировоззрение, у него непременно найдутся предтечи среди реакционеров... Память — то, чем дышит поэзия, былое — ее материя. А что такое реакция, как не восхваление былого?..

⁵⁶ Конт Огюст (1798—1857) французский философ, основоположник позитивизма.

⁵⁷ Ультрамонтан — фанатичный приверженец католицизма.

«Убеждения надобно высказывать, высказывать громко и смело; я готов отдать что угодно за то, чтоб отыскать ошеломляющую истину и бросить ее в лицо человечеству». Не предвосхищает ли Местр «полную откровенность» «Фейерверков» и «Моего обнаженного сердца»? Бодлер, не менее искусно, чем автор «Вечеров», оскорблявший чувства современников, мог бы подписаться под этими словами. Впрочем, подобным искусством владеют все, кто достаточно прозорлив или желчен, чтобы не обольщаться миражами прогресса. Интересно, почему консерваторам так удаются обличения? Почему вообще они пишут лучше, чем глашатаи будущего? Быть может, потому, что, потерпев поражение на деле, с досады пытаются отыграться на словах и тут упиваются призракными победами над противниками. Те же относятся к словам небрежно, если не сказать — презрительно; они уверены, что за ними будущее, что на их стороне «история», и пишут кое-как, без тщания и страсти, прекрасно понимая, что хороший слог — забота и последнее утешение побежденных. К побежденным мы относим не только Местра, но и Сен-Симона. Оба они слепо преданы интересам знати, у обоих видимо-невидимо предрассудков, которые оба истово защищают, оба страдают доходящей до смешного кастовой гордостью и совершенно неспособны к действию, а потому изошряются в литературе. Один строит теории, второй описывает реальные события, но каждая идея, каждый рассказ словно начинены взрывчаткой. Исследовать их прозу — все равно что пытаться загнать в мензурку ураган. Однако мы не собираемся приравнивать Сен-Симона к Местру: герцог создал живой, написанный с натуры портрет своего времени, а герои графа — идеи и понятия — неподходящий материал для художественного гения. В философии нет подлинного творчества; как бы ни была глубока и оригинальна мысль, она всегда вторична, оторвана от непосредственного, деятельного существования; лишь искусство возвышается до жизни, лишь оно уподобляется Богу или замещает Его.

Мыслитель же не может превзойти предела, положенного несовершенному человеку.

Если Сен-Симон, по словам Сент-Бева, соединяет в себе Шекспира и Тацита, то Местр заставляет думать о менее удачном союзе Беллармино⁵⁸ с Вольтером, богослова с писателем. Великого полемиста XVI века, мастера казуистики, грозу протестантов мы вспомнили потому, что Местр продолжал его дело еще более рьяно и был, так сказать, последним рыцарем контрреформации. Глядя на войну Местра с новыми «сектантами», невольно подумаешь, не смеется ли он, ибо трудно вообразить, чтобы он не чувствовал всей дикости своих нападков. Хотя — повторяю вновь и вновь — именно эти дикие перехлесты украшают его произведения и до сих пор привлекают к ним читателей. Ну как не восхититься, когда по поводу одного из суждений Бэкона он восклицает: «Ничего подобного не касалось человеческого слуха с тех пор, как было произнесено: „Да будет свет!“». А вот еще одна несуразица: «Священнослужители все сохранили, оживили и передали нам». Мы смеемся, но это высказывание звучит так, будто автор и сам прыскает в кулак. В шутку или всерьез Местр объявляет Папу «творцом цивилизации»? Все же проще предположить, что он всегда искренен; шарлатанства в нем не было ни на грош, и при всей своей проницательности он никогда не доходил до того, чтобы насмешничать и морочить голову другим. Пожалуй, только тут ему изменяет безупречное чувство чремерности.

Этот разрушитель во имя традиций, фанатик во имя порядка и послушания жаждал несокрушимых убеждений, монолитной цельности. «Идея поглощает меня, как пропасть», — жаловался один больной, то же

⁵⁸ Роберто Беллармино (1542—1621) — итальянский теолог, причисленный католической церковью к лику святых, ярый обличитель протестантизма.

самое мог бы сказать о себе Местр, только его это ничуть не огорчает, он сам стремится в пропасть, бросается в нее очертя голову да еще, как любой одержимый философ, норовит прихватить с собою и нас — таким убийственным прозелитизмом отличаются все фанатики: и прирожденные, и ставшие таковыми в силу разных причин. Фанатизм нашего автора приобретенный, сознательно взращенный, но Местр сжился с ним, сделал его частью своего естества. Он так ненавидел век, все подвергавший сомнению, что изо всех сил ухватился за незыблемое и перегнул палку: избегая сомнения, культивировал слепоту. Мечтой его было стреножить разум, заслониться со всех сторон иллюзиями. И он свою мечту удачно осуществил.

Не лишенный пророческого дара, Местр, однако, ошибся во многих своих предсказаниях. Так, он отводил Франции решающую роль в религиозном возрождении человечества. Франция же предпочла светский путь... Он сулил конец раскола, объединение церквей под эгидой Рима и возврат былых папских привилегий. Вместо этого никому не нужный Рим совсем притих и оробел... В том, что Европу ждут потрясения, Местр не обманулся, но предугадать, что именно на нас обрушится, не смог. И все же, хоть пророком он оказался неважным, это не умаляет его заслуг и не лишает актуальности его апологию порядка и сильной власти; будь слава его погромче, он стал бы родоначальником всех ортодоксальных политиков и знаменем всех деспотий нашего века. Мысль Местра, бесспорно, остается живой, но лишь в том смысле, что вызывает живое изумление и протест; чем больше его читаешь, тем больше ценишь прелесть скептицизма и понимаешь необходимость инакомыслия.

Вадим Климов
АКТИВИСТСКИЕ ПРЕДРАССУДКИ

Триптих субъектности

Реагирующих на актуальную действительность можно условно разделить на три типа: активистов, художников и философов. И хоть конкретные люди обычно тяготеют к тому или иному типу, подчеркнем, что мы говорим именно о типах, а не о самих людях.

Ориентированные на действие активисты руководствуются предельно простыми суждениями, и когда речь заходит о вопросах сложных, их сознательно огрубляют и редуцируют до примитивных схем, дерзко выбрасывая все лишнее. Цель активиста — не исследование, а участие с экстремальных позиций, радикализация любого противостояния с обязательным обличением несогласных в самых одиозных прегрешениях.

Художник некоторым образом напоминает активиста выявлением нерва проблемы. Но, в отличие от активиста, высказывание художника не растворяет его в ситуации. Артистическое вторжение отвоевывает пространство у реальности и создает ее локальный дубль — зону художественного произвола, которую следует воспринимать не как прямое высказывание, а как игру. Игру с формой и смыслами, доступную пониманию или беззастенчиво сокрытую — но всегда по правилам художника, а не юридическим, экономическим или политическим предписаниям.

Наконец, философ, третий тип реагирующего. Философ ориентирован на понимание в самом широком контексте. Его не увлекает ни наивная прямота активизма, ни художественный артистизм, переводящий проблематику в игровое пространство. Мыслитель раз-

двигает границы оптики, удаляясь от актуальности. Его бесстрастное исследование одинаково сторонится как активистской точки зрения, так и художественной, хотя не исключает их фрагментов из своего подхода.

У каждого из трех типов есть свои достоинства и недостатки, как и своя область применения. Конфликты возникают, когда типы оказываются на чужом месте. Их представителям не удастся переключиться с одного режима на другой, они неожиданно сталкиваются с собственной неуместностью. Что еще больше распаляет недовольство, отнимая последнюю надежду на преодоление курьеза.

Нигилизм и радикализм

В школе я обозначал свое мировоззрение как нигилизм. Разумеется, нигилизм не является никаким мировоззрением, это всего лишь бантик критичности или судорожная дезориентация в малопривлекательном мире. Тогда я любил спорить и потешался над взрослыми, вязнувшими в луже тривиальных парадоксов.

Масса людей мыслит неправильно, это ни для кого не секрет (“большинство всегда ошибается”), но они, по крайней мере, совершают какие-то простейшие интеллектуальные операции, хоть и неверно.

Однако из массы всегда выделяется элита, которая даже не воспринимает аргументов, не понимает, зачем они вообще нужны. Подобные персонажи, на мой взгляд, и есть истинные нигилисты. Полное равнодушие к авторитету, включая свой собственный, так как ничто в их представлении не поддается сравнению.

В разговоре подобный “народный” нигилист всегда нивелирует смысл, о чем бы ни шла речь. Его ничем не удивишь, потому что в его представлении все уже происходило, причем гораздо грандиознее. Чем провинциальнее медвежий угол, в котором он провел детство, тем волшебнее чудеса там происходили. Чем глу-

пее работа, на которую он устроился, тем значительнее сотрудники, его окружающие. И так во всем.

Если антураж “народного” нигилиста слегка сдвинуть в сторону политики, то мы получим активиста, сторонника некоей идеи. Активист это не интеллектуал и не художник, он — человек действия с четким восприятием границ своей идеологии. Чем яростнее он отстаивает их неприступность, чем нетерпимее к оппонентам, тем больший он активист.

По терминологическому недоразумению такая позиция называется радикализмом. Но природа активизма проявляется в обособлении, максимальном подчеркивании своей исключительности, тотальном неприятии остальных. Чем радикальнее такой “радикализм”, тем он малочисленнее.

Подлинный же радикализм проявляется в действии. Виртуозно мутируя на тактическом уровне, он движется по градиенту воздействия к его экстремуму. В то время как “радикализм” активистов вязнет в догматах, он не в силах преодолеть самые простые препятствия.

В глупых и неповоротливых общественных системах, которые обычно называют тоталитарными (еще одно терминологическое недоразумение) с “радикалами” всегда борются — они под особым наблюдением и коротают дни в тюрьмах или психиатрических лечебницах.

А ведь на самом деле “радикалы” совершенно безобидны, они — что-то вроде недовольных жизнью и погодой старушек. Борьба с “радикалами” выглядит как репрессии против уподъездных старушек.

Активизм

Если скрестить пальцы и коснуться кончика носа, то покажется, что нос раздвоился. Схожее ощущение возникает при виде любого активизма, будь то политический, общественный или культурный.

Быть современным значит быть заметным, то есть перешагивать через расплывчатую максиму о том, что свобода одного заканчивается у кончика носа другого.

У чьего кончика заканчивается, скажем, свобода революционеров, казнящих прежнюю власть? Или чьим кончиком ограничена свобода эпатажных феминисток Femer вторгаться на чужие мероприятия с оголенной грудью (мое тело — мое дело)?

Концепт свободы, такой соблазнительный в своей невразумительности, все более расплывается. Обыватели, словно пассивный скот, втаскивают в будущее (еще более вольное, чем угрюмое настоящее) за кольцо в носу.

А если скот недовольно мычит, ему показывают фокус со скрещенными пальцами — нос не один, их несколько. Каким именно кончиком ограничена свобода?

Мы уверены, что трансгендеры появились задолго до борьбы с так называемой культурной апроприацией. Забавно, что одни и те же люди приветствуют мужчин, чувствующих себя женщинами, и женщин, чувствующих себя мужчинами, и считают чем-то вызывающим перекрашивание в не свой расовый цвет или совершенно безобидные переодевания в чужие национальные наряды.

Активизм это, прежде всего, психическое расстройство, а потом уже все остальное. Вначале человек заражается активизмом, а уже потом, как умеет, разбирается в его основных идеях, пытаясь скрыть тремор и пену изо рта.

Недавно рассказывал о серии 'судороги современников', в которой публикуются самые одиозные произведения, по преимуществу запрещенные в цивилизованных странах. Антисемитизм, расизм, нацизм и тому подобное... А как вы к этому набору относитесь, спросили меня. Как к судорогам современников, ответил я. Люди придумали себе чудовищ и теперь отчаянно с ними борются, ерзая между страхом и отвагой.

Каких только ментальных мутантов не выплеснула на берег волна современного скептицизма. Скажем, институт выборов, к которому у меня у самого масса вопросов. Есть, оказывается, такие люди, которые не доверяют выборам в России, ни разу в них не участвовали, но при этом всегда работают наблюдателями, чтобы следить за исполнением демократической процедуры.

Как писал один идеолог новых правых о борьбе с расизмом в современной Франции: рыбы не существует, но рыбалка запрещена. Если в эти декорации вложить электоральное содержание, то деятели, которых я только что описал, предстанут инспекторами «Рыбзащиты», не верящими в существование рыбы, но следящими, чтобы запрет рыболовства соблюдался по всей строгости закона.

Активизм в чистом виде, или — в терминах издательства «Опустошитель» — судороги современников. Сумерки сознания...

Часто вспоминают про мышшь, угодившую в чан с молоком. Бедолага так отчаянно молотила лапками, что молоко превратилось в сметану, и мышшь вылезла из чана, отодвинув свою кончину в неопределенное завтра.

Вот активисты, занявшие нижайшие этажи культуры, где-то между подвалом и канализацией, и молотят всю жизнь лапками, считая, что их суета в конце концов приведет к успеху. Перефразируя высказывание одного скептика теории эволюции, можно уподобить надежды сумбурных активистов вере в то, что ворвавшийся в мастерскую ветер вдруг соберет из разрозненных деталей автомобиль.

Главное, молотить лапками. Все остальное мироздание отдаст вам и так, причем без всякого умствования.

Проиллюстрируем написанное красивой историей, произошедшей года четыре назад с продуктовой сетью Вкусвилл. Креативный отдел выпустил рекламный ролик с лесбийской парой, а потом вынужден был за него

извиняться перед встревоженными покупателями. После ролика оскорбилось моральное большинство, а после извинений — лгбт-персоны и лгбт-активисты.

Равнодушных не осталось. Даже некоторые борцы с бинарной кабалой стыдливо заквакали полупшепотом: «Ну, они хотя бы попробовали», пытаясь оправдать угасшую сексуальную революцию Вкусвилла. Я же склонен видеть в эскападе продуктовой сети один лишь маркетинг.

Ситуация была настолько предсказуема, что даже бизнесмены могли бы просчитать реакцию аудитории. Появление оскорбленных было запрограммировано, а после извинений обязательно должны были вылезти другие оскорбленные, еще более крикливые.

К счастью, первых в России пока гораздо больше, чем вторых, поэтому стрекот небинарных индивидов нисколько не затронул потребительскую массу. Зато случившееся разогнало в сети информационный тайфун с четким разделением на бинарных (подавляющее большинство) и небинарных (статистический огрызок).

Активисты всегда казались мне ментально ущербными версиями человека. Возня в коллективе требует определенных жертв. Забавно, что теперь их левая свобододолюбивая истерика наконец выплеснулась в область консюмеризма и маркетинга. Потреблятельство — последнее прибежище свободы.

Цензура

Одним из методов активизма в его войне за свободу является цензура. Казалось бы, оставшаяся в далеком прошлом, порождение темных времен и тоталитарных режимов... Одно звучание этого слова отдает музеем, причем далеко не современного искусства.

Цензура преодолена, похоронена в саркофаге былого, словно фашизм. Но не забыта. Более того, о ней постоянно вспоминают по поводу и без. Чаше, разумеется, без повода, потому что причин для вмешательства в чужое высказывание нет решительно никаких.

Или все-таки есть?

Мы постоянно торопимся с похоронами. Закапываем еще живые, шевелящиеся трупы, надеясь, что земля доделает за нас остальное. Но нет же! Все приходится делать самим, даже самую неприятную работу.

Цензура снова здесь. Она просочилась сквозь крышку гроба в будущее, слегка изменившись в угоду современным нравам. В чем же основание для цензуры в мире всеобщих прав и свобод?

Расщелина для проникновения тоталитаризма появляется вместе с самыми ретивыми поборниками свободы. У каждой группы активистов всегда есть мишень — то, против чего они будут бороться до конца. Во всем остальном — полная свобода на усмотрение индивида, но не в главном пункте.

Количество активистских групп растет. В пещере крошечной свободы они выхватывают фонариками все новые червоточины, нуждающиеся в немедленном исправлении. Сто сортов феминизма, пятьдесят сортов гомофобии, десять — расизма, пять — сексизма, еще пять — эйджизма...

Фонарики активистов заполняют всю пещеру, пересекая ее тысячами, миллионами лучей. От мрака свободы ничего не остается: каждый уголок подсвечен аргументированным запретом — спрятаться негде.

Это и есть новое воплощение цензуры — так называемая просвещенная цензура. Каждое табу отнимает у культурного пространства бесконечно малую часть. Но самих табу бесконечно много, поэтому они должны заполнить собой все политическое, культурное и бытовое пространство. Причем под знаменем решительной, ничем не ограниченной свободы.

Цензуру похоронили так, что только она и ушла с кладбища, а терзаемая ею литература осталась под землей. Пред Страшным судом вместо цензоров стоит именно она — литература. И поделом — нужно было быть умнее. Или хотя бы честнее.

За недостаток того и другого литература приговаривается к исправительным работам сроком вечность.

Плюс две недели сверх этого за кошмарный стиль активизма.

Напоследок вспомним старую, как Уильям Берроуз, идею о том, что язык программирует реальность. Если изменить что-то в языке, мы изменим и реальность. Это соображение заложено в основание стратегии защитников всевозможных меньшинств и их странные требования употреблять одни слова и не употреблять другие.

В усложненном виде такая стратегия запрещает целые пласты культуры и мысли. Причем развивается это стремительно и хаотично. Группы активистов конкурируют друг с другом и не могут сойтись во мнениях по ключевым вопросам.

Но интереснее другое. Разумеется, язык не “программирует” реальность, а отражает ее, словно зеркало. Стратегия современных вольтеров представляется ретушированием отражения, вместо того, чтобы изменять сам мир. Если закрасить фрагмент зеркала, то в нем, действительно, перестанет отражаться часть пространства. Но само пространство из-за этого не изменится.

Гораздо большее отношение язык имеет к культуре, а не к реальности. Закрашивая зеркало, изымая из речи все больше понятий, мы обедняем культуру и ее понятийный аппарат. В конце концов, столкнувшись с исключенной частью реальности, мы не сможем противостоять ей на культурном уровне. Не останется ни нужных понятий, ни необходимых поведенческих стратегий. Мы вообще не поймем, что перед нами и как это воспринимать.

Такая добровольно приобретенная слепота и станет итогом переформатирования языка и культуры изъятий. Частичная дисфункция самого человека, которого новые вольтеры превратили в бессмысленного унифицированного инвалида (этого неполиткорректного слова в новом языке тоже не останется).

Ноябрь, 2024

п е р с о н а ж и

Вадим Климов
**МАКС СУРКОВ:
ОТ ТАЙНОГО ПРОМЫСЛА
К ПРЕМИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО**

Тайный промысел Макса Суркова

Сегодня, проезжая на трамвае Большой Устьинский мост, заметил Макса Суркова из магазина «Циолковский». Он шел, а рядом с ним, словно собачка, катился его мотоцикл. В глазах Макса читалась спокойная решительность, как у стахановцев перед сменой.

На Новокузнецкой я сошел с трамвая и увязался за директором «Циолковского». Что-то неуловимое влекло меня, я даже зашел вслед за Максом в вестибюль метро. Мы преодолели турникеты, добрались к эскалатору, но вместо того, чтобы сойти на движущиеся ступеньки, Сурков приоткрыл маленькую дверцу и юркнул внутрь разграничительной полосы с плафонами.

Весь механизм затрясся, мне показалось даже, что эскалатор поехал чуть быстрее, и тут... я даже не сразу понял, что именно произошло... внизу, у самых ступенек, показался черный ус директора «Циолковского». Он занял пустое место, проплешину, в длинной эскалаторной щетке.

Вот, оказывается, чем занимается Макс Сурков. А ведь я подозревал, что Циолковский — всего лишь видимость, ерунда для отвода глаз.

Я приоткрыл дверцу, в которую только что пролез Макс. Как и ожидал, внутри сидели, прижавшись щеками к стенке, *они все*. Все до единого. И каждый работал здесь фрагментом эскалаторной щетки.

Прежде, чем кто-то из них успел повернуться, я захлопнул дверцу и выскочил из метро. Может быть, в «Циолковский», подумал я. Но что там сейчас делать, если Сурков здесь...

Посещение Макса Суркова

Интересные подробности лавочки Макса Суркова, что совсем недавно был замечен за необычным занятием. Кстати, после случившегося видел несколько раз, как Макс перебегал с одного эскалатора на другой в компании похожих усачей.

Уже на ступеньках мне на плечо положил руку один гражданин, который, пнув ботинком рыжеватый ус, сказал, что никогда эти щеточки не любил.

— А вы? — поинтересовался гражданин.

— Я тоже, — признался я.

Гражданин был настолько пьян, что едва не заснул на моем плече. Если бы он заснул, мне бы, наверно, пришлось сдать его в метрополитеновскую гардеробную. Но, к счастью, все обошлось.

Тем не менее, Макс Сурков... Зайдя в Facebook, я обнаруживаю, что он запечатлел моего уснувшего собеседника на фотокамеру и выложил целый рассказ о нем. Понятное дело, выдуманный. Якобы некий толстяк зашел в Циолковский и узнал в интервью свою спальню.

— Вот, — говорит толстяк, — окно, под которым я спал. А вот, — говорит тот же толстяк, — пол, по которому я ползал.

Самое удивительное в этой истории заключается в том, что в момент событий я наблюдал Макса Суркова перебегающим с эскалатора на эскалатор. Усачей перебрасывали в другое место, чтобы заткнуть лысины эскалатора на другой станции.

Макс Сурков отряхивает усы, пристально смотрит на толстяка, спавшего на новинках отечественной прозы, и говорит:

— Зайдите в другое время.

Толстяк не унимается. Он вынимает Суркова буквально из-под ступенек эскалатора где-то в районе Выхино, и пишет совместно сообщение о бывшем жильце.

— Но я не бывший Сурок, точнее, не бывший жилец! — вскрикивает Макс.

— Вот именно, — соглашается толстяк. — Поэтому вам придется освободить площадь. Ищите новые места.

Доведенный до отчаяния Макс с воплем выбегает на улицу (в то время как толстяк ложится на новинки отечественной кинохроники) и немедленно засыпает.

Премия Андрея Белого за красные крышечки

Как-то, спускаясь на эскалаторе в метро, я разговаривал с Максом Сурковым, подрабатывающим там фрагментом щетки. Он спросил меня:

— А правда, что ваш автор Маруся Климова вошла в шорт-лист премии Андрея Белого?

— Чистейшая, — заверил я.

— Насколько я помню, это та самая женщина, что воровала крышечки в Ашане?

— Да-да.

— Какая нелепость: награждать литературными премиями за воровство в супермаркетах.

— Ну, — сказал я, — Маруся еще не получила премию, пока лишь проникла в короткий список.

— Если она все-таки получит премию, это будет самый большой курьез в литературной современности.

— Там весь шорт-лист сплошной курьез, — заметил я.

— А вы бы кому присудили эту премию? — поинтересовался Максим.

— Светлане Алексиевич.

— Неожиданно. А за что?

— За самую выдающуюся бородавку на благородном челе.

— Отличная формулировка...

Это было последнее, что я услышал от щеточки Макса Суркова. Я переместился глубже под землю, а Максим остался там же, где и был. Может быть, люди, ехавшие следом, продолжают наш диалог после меня.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА



Гейзенберг, Зенон, Ницше, Сартр, Селин, Хайдеггер
и всеобщая децимация 4

м и к р о

Кира Муратова. И птичку жалко, и кошку жалко ... 6

п р о з а

Яна Васильевич. Тяжесть 9
Нелли Цымбаленко. «Б» класс 13
Виталий Аширов. В городе красные 18
Дмитрий Колейчик. Призраки камней 25
Евгений Долматович. Агония 35

м е р т в ы й т е к с т

<i>Юкио Мисима. Голоса духов героев</i>	58
<i>Курцио Малапарте. Украина — могила для хлеба</i>	102
<i>Эжен Ионеско. Гнев</i>	108

grandjeu

<i>Антонен Арто. О сборнике стихотворений</i>	
<i>Роже Жильбер-Леконт</i>	
«Жизнь любовь смерть пустота и ветер»	116
<i>Роже Жильбер-Леконт. Из сборника</i>	
«Жизнь любовь смерть пустота и ветер»	119
<i>Рене Домаль. Открытое письмо Андре Бретону</i>	
о взаимоотношениях сюрреализма	
и «Большой Игры»	125
<i>Роже Жильбер-Леконт. Рене Домаль</i>	134
<i>Рене Домаль.</i>	
Клавикулы большой поэтической игры	140

ulrikemeinhof

<i>Ульрика Майнхоф. Дрезден</i>	167
<i>Ульрика Майнхоф.</i>	
От протеста — к сопротивлению	171
<i>Ульрика Майнхоф. Вьетнам</i>	176

extremum

<i>Ноам Хомский. Война — это мир.</i>	
Свобода — рабство. Невежество — сила	180
<i>Ален де Бенуа. Хайек: закон джунглей</i>	185
<i>Эмиль Мишель Чоран. Жозеф де Местр</i>	196
<i>Вадим Климов. Активистские предассудки</i>	247

п е р с о н а ж и

<i>Вадим Климов. Макс Сурков:</i>	
От тайного промысла к премии Андрея Белого	255

P.S.

Снова столкнулись с совершенно потрясающим анекдотом о «Раскрашенной птице» Ежи Косински. Очередной топ из восьми книг недели, года или столетия, в который угодила и наша книга. Обозреватель слегка коснулся содержания романа, а затем пошел по хорошо отрепетированным нотам.

История «Раскрашенной птицы» это история разоблачения Косински, который сфальсифицировал факты своей биографии, обманув (и обокрав) аудиторию. Оказывается, герой произведения, которому на его начало всего шесть лет, это не маленький Ежи Косински. Автор все выдумал, высосал из пальца, чтобы ввести читателей в глубочайшее заблуждение. И, разумеется, заработать на этом баснословные деньги.

Кампания по вычленению Косински из американской литературы началась примерно в 1980-х. На тот момент книги имели гораздо большее значение, поэтому их читали в том числе и те, кто сейчас читает разве что подписи к фотографиям в *instagram*.

Что называется, широкая аудитория. Ею манипулировали примерно те же, кто и сейчас манипулирует общественным мнением, создавая у обывателя иллюзию свободы. Однако всю эту чепуху относительно фиктивности «Раскрашенной птицы» в России транслирует так называемые интеллектуалы, которые читают книги и разбираются в литературе.

Друзья, неужели вам неизвестно, что такое роман? Что роман может строиться на вымысле, на документах, на смешении вымысла и документа? Нет? Никогда об этом не слышали?

Откуда столько убийственного пафоса в перепечатывании пустых журналистских прозрений сорокалетней давности? Художественная литература это и есть фальсификация. Смещение правды и вымысла в любых пропорциях — вот главное право автора, а не ваш поганый *copyright*.

Или у кого-то можно отобрать это право?

ИЗДАНИЯ «ОПУСТОШИТЕЛЯ» МОЖНО КУПИТЬ

в Москве:

Фаланстер Тверская, 17

Листва Жуковского, 4с1

Книжный в Клубе Покровский бульвар, 6/20с1

Ходасевич Покровка, 6

Гнозис Турчанинов переулок, 4с2

Фламмеманн Тверская, 23с1

Чехов и Компания Гончарная, 26 к. 1

PRIMUS VERSUS Покровка, 27

в Санкт-Петербурге:

Все свободны Некрасова, 23

Подписные издания Литейный, 57

Листва Литейный проспект, 33

Во весь голос Маяковского, 19

Брянск **Закладка** Калинина, 111

Верхняя Пышма **Книги, кофе и др. измерения** Успенский, 99

Владивосток **Игра слов** Партизанский проспект, 44к10

Владимир **N1KE7UP** Большая Московская, 22а

Воронеж **[Элефтерия]** Кардашова, 5

Грозный **Jeanne Books** Хамзата Орзаниева, 29

Краснодар **Чарли** Красная, 69

Краснодар **Bookowsky** Рашилевская, 106

Пермь **Пиотровский** Ленина, 54

Ставрополь **князь МЫШКИН** Космонавтов, 8

Томск **Догма 80** Ленина, 85а, 2 этаж, офис 4

Ярославль **Книжная лавка Юрия Швецова** Свердлова, 9

opustoshitel.ru, totenburg.org, mybooks.by (*Беларусь*),

ozon, wildberries, Яндекс.Маркет,

Читай-город, Буквоед, Бартлби и компания.